

2
1963

Искаатель

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ЖУРНАЛУ
ЦК ВЛКСМ

ВОКРУГ  СВЕТА

ФАНТАСТИКА • ПРИКЛЮЧЕНИЯ



12 АПРЕЛЯ 1961



— Мы еще не побеждены, — сказала она. —
Время у нас есть, срок истекает на рассвете.



ПРИЛОЖЕНИЕ
К ЖУРНАЛУ
ЦК ВЛКСМ

ВОКРУГ  СВЕТА

ФАНТАСТИКА • ПРИКЛЮЧЕНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ :

ВЛАДИМИР САКСОНОВ. Повесть о юнгах	3
Г. ГУРЕВИЧ. Под угрозой	69
С. ГАНСОВСКИЙ. Голос	68
Из блокнота «Искаателя»	91
УИЛЬЯМ АЙРИШ. Срок истекает на рассвете	94
Б. СЛУКИН, Е. КАРТАШЕВ. 100% объ- ективности	126
НИКОЛАЙ КОРОТЕЕВ. Схватка с обо- ротнем	130
НИК. ШПАНОВ. Сенсационная инфор- мация	148
Л. ЧЕШКОВА. Штурмующие космос	157
Новые книги о покорении космоса	159

№ **2** (14)

1 9 6 3

**ТРЕТИЙ
ГОД
ИЗДАНИЯ**

Социализм и коммунизм — вот тот надежный космодром, с которого человечество штурмует и будет штурмовать просторы Вселенной.

Н. С. ХРУЩЕВ

Скажем прямо: нашему поколению сильно повезло. Счастливая у нас звезда. Нам, простым советским людям, молодым коммунистам, выпала большая честь: осуществить дерзновенную мечту человечества — проложить первые борозды на космической целине. На звездные трассы уверенно вышли замечательные советские корабли-спутники, в которых воедино сплавились гармоничное соединение дерзновенной научной мысли ученых и кропотливый труд умелых рабочих рук.

Советскую науку движут вперед талантливые ученые, смелые и дерзкие замыслы которых воплощает в жизнь огромная армия конструкторов, инженеров и рабочих. Рядом с «ветеранами» науки и техники — молодежь. У нее никогда не иссякает жажда к неизведанному, интересному.

Пройдет совсем немного времени, и наши звездолеты будут совершать обычные рейсы в глубины вселенной.

Группа летчиков-космонавтов СССР



ВЛАДИМИР САКСОНОВ

Рисунки П. ПАВЛИНОВА

ПОВЕСТЬ О ЮНГАХ

I

Я слышу, как шумят сосны, — значит, проснулся. Крепко зажмуриваю глаза, пытаюсь опять провалиться в мягкий, теплый сон, и — ничего не могу поделать! — жду: вот-вот заорет дневальный.

Сосны шумят и шумят... При сильных порывах ветра они

словно тесней обступают палатку, потом отходят. Если с головой укрыться шинелью, их невнятный гул стихает.

— Подъем!

Ветер, торжествуя, гудит в соснах, совсем рядом скрипят их стволы; и теперь уж мне кажется, что я слышал это всю ночь.

И всю ночь видел во сне валун, похожий на тушу бегемота. Не думал я, что он такой большой, когда из-под земли выпер кусок его спины — холодный, гладкий, со следами от кирки. А потом... Хотя бы он треснул!

Глаза не открываю: такое чувство, что, если открою, сразу станет холодней. А зачем открывать? В палатке темно, тихо. До третьей команды вставать никто не собирается.

Правда, Железнов поднимется раньше всех. Это парень, который спит в правом дальнем углу. Его фамилию я запомнил еще на Большой земле, во время переключки, и, наверное, потому, что у него такое...

— Выходи на физзарядку!

...такое лицо: все в оспинах, а подбородок тяжелый, тянет книзу. Смотрит Железнов всегда исподлобья.

Поспать бы!.. Пусть этот валун мне только снится. А то ведь он существует на самом деле — лежит, бегемотина, и ждет нас. На его спину наткнулся, конечно, я. Мне везет! Но потом и Железнов, копавший шагах в десяти от меня, буркнул: «Тут тоже...»

Мы еще не знали, что стоим на одном и том же валуне. У меня, правда, шевельнулось какое-то нехорошее предчувствие, когда Сахаров — а он копался у самого края котлована — крикнул: «Желающие изучать историю, ко мне! Ледниковый период... А я не нанимался».

И стал колупать киркой совсем в другом месте.

...Вот теперь я засыпаю, да как!.. Сутки мог бы проспать.

— Приготовиться на завтрак!

Это и есть третья команда. Вокруг закопошились. А Железнов уже возвращается — ходил, значит, умываться. Он в нашей палатке один такой: по утрам умывается, а спит раздетый.

— Закаляется, — насмешливо шепчет мой сосед и высказывается вслух: — Нет уж, на Соловках спать надо во всем аттестате!

Сосед — Сахаров. Он закуривает — самокрутка лежит у него под подушкой с вечера, — и я вижу одну сторону его тонкого носа, щеку, настороженно расширенный злой глаз.

Надо вставать... И думать не о валуне, а про что-нибудь приятное. Например, про завтрак.

Вчера перед отбоем я сделал из своей «гражданской» рубашки новые портянки. Также приятно. Вот они, под матрацем, тепленькие!

— Выходи строиться!

Сахаров чертыхается. Я догадываюсь почему: шнурки кожаные, от сырости разбухают и не продеваются. У всех так. Но все молчат, а Сахаров молчать не может.

— Служба, — говорит он, — для нормального человека состояние ненормальное.

— Сидел бы дома, — тихо огрызается кто-то в темноте палатки.

Сахаров поднимает голову.

— А ты сиди там... гаракан!

Строиться выходим на дорогу — целая рота заспанных юнцов в черных помятых шинелях и бескозырках без ленточек. Флотские ремни и ленточки нам еще не дали.

Мутный, зябкий рассвет сочится сквозь ветви сосен.

Впереди, справа вспыхивает карманный фонарик — политрук начинает читать сводку Совинформбюро: «В течение двадцатого сентября наши войска вели ожесточенные оборонительные бои...»

На поляне, неподалеку от дороги, врыты в землю наскоро сбитые столы и скамейки. Садимся по десять человек за стол. Девять пар глаз следят, как бачковой делит хлеб, масло и сахар. У меня бы, наверное, руки задрожали, будь я на его месте. А Сахаров даже глазом не моргнет. Ловко у него получается: делит вроде поровну, а если сравнить, то моя порция — я сижу на другом конце скамейки — вдвое тоньше, чем у него!

Напротив меня — Железнов. У него горбушка такая же, как моя. Тот, кто поближе к бачковому, тот и выгадывает.

И все молчат.

Я поднимаю глаза. Железнов смотрит на меня в упор.

— У тебя компас есть?

— Чего-о?

— Ну, компас. Обыкновенный...

Я только плечами пожимаю. Но когда он прячет половину своей горбушки в карман шинели, теряюсь окончательно: неужели наелся? Я бы сейчас мог проглотить таких горбушек... сколько? Но об этом тоже лучше не думать и, пока не подняли, с наслаждением прихлебываю пустой, но горячий, пахнувший дымом чай.

— Встать! Выходи строиться!

Опять голову направо, прямо... Поворот. Первый, тяжелый, как вздох, шаг роты.

Метрах в двадцати от дороги лес начинает спускаться к озеру и заметно редееет. Затоптанная трава и щепки покрыты инеем. Если провести по щепкам ботинком, сразу можно увидеть, что они свежие.

Когда начали рыть котлованы для кубриков — так здесь называют землянки, — я обрадовался: думал, будет полегче, чем таскать тяжелые стволы сосен. Зря так думал. Земля мерзлая, твердая. Лопатой не возьмешь, надо киркой.

А что кирка? Стоим вот и смотрим на валун: чем такую бегемотину вытащишь?

Последние два дня всей сменой — двадцать пять человек — мы долбили вокруг этого валуна кирками. Обкопали его, выровняли землю. Теперь старшина (новый какой-то — они у нас часто меняются) послал за канатом.

— Ра-а-аз, два-а — взяли! Еще ра-аз — взяли!..

Что-то развеселились вокруг... Согрелись, наверное.

— Ра-аз, два-а — взяли!

— Пупок не надорви, — советует Сахаров.

Я опять в дураках: тяну, когда все уже только делают вид, что стараются. Стараться, конечно, незачем. Это и старшина понимает.

— Отставить, — говорит он.

И задумчиво трет щеку, словно решает, побриться ему или нет.

Канат соскальзывает с гладких боков валуна.

Мы разбредаемся.

— Надо в другом месте копать, — вздыхает маленький лупоглазый юнга.

— Пряткий какой! — говорит Сахаров.

У «пряткого» шинель до пят, а бескозырка держится на оттопыренных ушах и сползает на нос.

— Я такую войну в детдоме видел. — Железнов приседает на корточки, берет два небольших камня и стучит ими друг о друга. — Противотанковые рвы копали. Там хоть фронтом пахло. А тут...

— Искру высекаешь? — спрашивает Сахаров.

— Знал бы — в воспитанники подался, — бурчит Железнов.

— А ну, воинство, — говорит вдруг старшина, — тащи сухой! Да побольше... Живо!

Минут через пять валун со всех сторон обложен кострами. А мы сидим на корточках с той стороны, где не дымно, греем ладони и блаженно шуримся. Ветер утих. Ели и сосны стоят молчаливо. Отражения облаков в озере похожи на рыхлый тающий снег. И мне начинает казаться, будто все это не настоящее, — со мной последнее время так часто бывает...

В прошлом году я отдыхал в пионерском лагере на Оке. И сейчас очень ясно вижу, как на утренней линейке под дробь барабанных палочек, вздрагивая, поднимается по мачте флаг. И то, что я уже вспоминаю, мне до сих пор все-таки намного ближе, понятнее, чем строй роты, гул соловьиного леса и темные палатки, в которых мы спим не раздеваясь. Только год назад я носил пионерский галстук, а теперь на мне черная шинель, я — юнга Военно-Морского Флота, а точнее говоря, пока просто рабочая единица на строительстве школы юнг — четверть лошадиной силы. Именно четверть. Вчера Сахаров перед отбоем рассказывал: в соседней роте не могли вывезти из леса большую сосну, и старшина просил для этого лошадь: «Что, нет лошади? Ну, тогда двоих краснофлотцев. Ушли в учебный отряд? Вот черт! Так дайте хоть четверых юнг!»

Если бы не Валька Заяц, я бы никогда сюда не попал.

Я ведь мечтал стать летчиком. А про набор в эту школу узнал Валька — мы как раз кончили седьмой. Расписывал: «Учиться будем в Архангельске и после практики на кораблях — в действующий флот. Точно тебе говорю! Айда? До призыва еще ждать и ждать, так война кончится».

Мы с Валькой с первого класса были вместе. Теперь он в другой роте — артэлектриков. А я в роте радистов. Нас уже распределили по специальностям. Интересно, как он? Рота его рядом, а не виделись давно — около месяца. Кажется, что год

прошел: дни начинаются одинаково и, послушные командам старшины роты, проходят — «В колонну по одному!» — тоже все одинаковые: словно в шинелях...

Оглушительно стреляет — я даже не сразу соображаю, в чем дело. Потом вижу: тело камня опоясано несколькими длинными трещинами.

— Здорово! — ухмыляется Железнов.

Сахаров небрежно роняет:

— От разности температур...

— Гениально — это всегда просто, — радостно заявляет лупоглазый.

Конец бегемоту! Теперь его можно вытянуть по частям.

— Кончай курить! — приказывает старшина, но его сразу, в несколько голосов перебивают:

— Да ладно, посидим...

— Пускай еще разок треснет.

— Сачки! — говорит старшина.

«Сачки» — значит, лентяи. Почему? Я закрываю глаза — от валуна, от прогоревших костров тянет теплом — и вижу зеленые-зеленые луга за Окой, а в траве бродят девчонки из нашего лагеря и ловят сачками бабочек...

— Жрать хочется, — говорит кто-то.

— А как же в Ленинграде? — раздается ехидный голос нашего бачкового. — Там люди небось не получают морской-то паяк!

— В Ленинграде хлеб делят поровну, честно!

Наверное, я хотел об этом подумать, а сказал вслух. И сразу передо мной — лицо Сахарова. Он округляет глаза.

— В зубы — хочешь?

— А ты?

Он замахивается, я отшатываюсь, и кто-то смеется. Злорадно. Нет, Сахаров не бьет, он просто наплевывает мне на глаза бескозырку, грязной пятерней проводит по моим губам. Я бью его по руке — мимо! У меня мгновенно горячат глаза — от стыда, от ненависти к этой руке, а главное, от обиды: смеются! Я же за всех...

— Товарищ юнга, вернитесь!

Это старшина. Я прибавляю шаг. Ломаю кусты. К черту!..

— Юнга, вернитесь!

«...нитесь!»

«...итесь!»

Но вернуться я не могу.

II

Я остановился, подобрал кустик хвойных иголок. Раскусил одну — горько! Побрел дальше, испытывая мрачноватое удовольствие оттого, что иду не в строю, а просто так — куда и как хочу.

Потом решил влезть на сосну. Ветви ее были крепкими, упругими, на золотистой чешуе проступали капельки смолы — такие стеклянные, что хотелось их потрогать.

Ствол уже заметно качало. Обняв его, я осторожно выпрямился. Подо мной и далеко-далеко впереди холмились сосновые кроны, там и тут пробитые пиками елей. А за ними светло холодило море. Я пристроился поудобнее и долго смотрел в эту даль. Туда бы!..

Песня грянула почему-то совсем неподалеку. Запевалу я узнал сразу.

Это дело было под Кронштадтом
С комсомольцем бравым моряком
В дни, когда военная блокада
Обняла республику кольцом.

Я слушал. Она звучала со стороны неожиданно, по-новому — первая песня, разученная нашей ротой. Старая песня. Сколько поколений моряков пело ее до нас?

Мне вспомнилась карта в учебнике истории: молодая Республика Советов в кольце блокады. И большая карта Европейской части страны, которая висела у нас в классе около доски. На ней мы отмечали линию фронта.

Отсюда до линии фронта все-таки ближе. И дело не в километрах, теперь я служу. В общем-то все правильно... Кончится же когда-нибудь это строительство!

Только вот как вернуться в роту? Хотел бы я сейчас вместе со всеми шагать, петь, а потом снять по команде «головной убор» и сесть за стол. Сахаров разделит хлеб, начнет разливать по мискам первое... Я проглотил слюну и начал спускаться. На всякий случай надо было поискать в траве пуговицу от хлястика: отлетела, когда влезал на сосну. А без хлястика шинель сразу стала широкой, неуклюжей мантией. Я спрыгнул в траву и услышал, как за спиной треснула ветка. Медленно повернул голову. В трех шагах от меня в кустах чернела чья-то шинель.

— Эй, — сказал я негромко, — в чем дело?

Кусты раздвинулись. Вышел Валька Заяц.

Я обрадовался.

— Валька! Тоже, значит, сачкуем! Интересно, сколько в лесу...

И осекся. Валька стоял молча, смотрел на меня какими-то затравленными глазами и словно не видел. Нос у него заострился, щеки провалились.

— Да... — Он улыбнулся так вымученно, что у меня екнуло сердце. — Погорели мы с тобой, Серега. Попали! Ты как? — Не дожидаясь ответа, вздохнул. — Тоже похудел...

Вздохнул он как-то очень по-домашнему, жалеючи, и почти вся моя бодрость улетучилась. Было только жалко его и себя.

Рота уже не пела.

Валька присел на траву, словно подломился, обхватил колени и пошевелил неуклюжими ботинками. Из-под штанины вылез уголок портянки.

— Ты наедаешься? — спросил он.

— Нет.

Ответил я все-таки бодро, почему-то надеясь, что от этого признания Вальке станет легче. Я не узнавал его: Валька все-

гда был насмешливым, нахальным издевом. Всегда меня разыгрывал... Может, и сейчас?

— Как думаешь, — медленно проговорил он, глядя в одну точку, — если попроситься домой... отпустят?

— Ну что ты!

— А я тебе точно говорю, понял? — Валька заволновался и встал. — Мы ведь добровольцы, так? Возраст не призывной — не имеют права. Нам по пятнадцати лет... Точно. Надо только не поддаваться, когда начнут уговаривать. Одного парня уже отпустили.

— Слушай, это в вашей роте два парня из партизанского отряда? — спросил я.

— Ну и что?

Я пожал плечами.

— Да ничего... Сам же говорил: «Война кончится, а...»

— Говорил, говорил!.. — Он отмахнулся. — Заладил!

— Ну... пока. Пойду обедать.

— Тебе-то хорошо. — Валька вздохнул. — Мы уже пообедали...

Мне повезло: наши как раз рассаживались за столы, а рота боцманов, только что отобедавшая, выходила на построение. В этой толкучке я как ни в чем не бывало пробрался на свое место. А Сахаров бачковал — тоже не до разговоров.

На первое дали суп из перловки и сушеной картошки. От него шел вкусный пар.

— Дай-ка твой хлеб, — сказал Железнов.

Я поднял голову и увидел, что он смотрит на Сахарова. У того округлялись глаза.

— Не дрейфь, не съем!

Сахаров пожал плечами, пододвинул на середину стола надкусанную горбушку и вызывающе дернул подбородком.

— Ну? Что дальше?

— И твой, — сказал мне Железнов.

Те, кто начал есть, перестали.

Железнов сложил горбушки вместе, и все увидели, что моя заметно тоньше. Стало очень тихо. Было слышно, как шепчутся сосны и за соседними столами стучат ложками. Железнов молча вернул нам хлеб и принялся за первое. И тогда все спохватились и, как по команде, начали греметь ложками и хлюпать.

— На, шакал!

Около моей миски шлепнулся кусок хлеба — половина горбушки бачкового. Я вскочил.

— А мне не надо, ясно? Не надо!

Я бросил ему этот довесок обратно, и хлеб чуть не упал со стола. Его подхватил широколицый, лобастый юнга, сидевший рядом с Сахаровым.

— Эх, вы! — сказал широколицый. — Рядом блокада, а они хлебом бросаются... Бачковать надо по очереди.

Сторонники Сахарова загалдели.

— Чего расшумелись? — спросил широколицый. — Правда, что шакалы...

— А ты-то кто?

Он спокойно ответил:

— Чудинов.

...Работать мне было теперь веселее. Я держался поближе к Чудинову и Железнову. И ужин вроде бы наступил быстрее, чем обычно.

Когда строились на вечернюю поверку, уже совсем стемнело. На дороге грудились фигуры в черных шинелях. Я шел туда, где выстраивалась наша смена, и услышал, как Железнов кому-то сказал:

— Тогда молчи. Понял? Молчи.

В строю мы стояли рядом. Я чувствовал, что он разозлен, но спросил:

— Можно, я свой матрац около твоего положу?

— Давай, — буркнул Железнов.

Подали команду разойтись.

— Ложись на мое место, — сказал он, когда мы шли к палатке. — Я все равно в наряд.

— Но не на всю же ночь? Сменишься...

— Ложись, тебе говорят!

Я устраивался спать, радуясь тому, что в эту ночь мне будет по-настоящему тепло: своим матрацем можно накрыться.

В темноте кто-то ткнул меня в плечо.

— Ты? — спросил Железнов.

— Я...

Он молча потянул меня из палатки, отвел к дороге.

— Слушай, есть шлюпка. Мы с Лехой Чудиновым решили на фронт податься, понял? Были еще двое — сдрейфили. Если хочешь, давай с нами, понял?

Я понял. Мне стало жарко.

— Только если сдрейфишь... — Железнов замолчал, оглянулся.

Подошел Чудинов.

— Ну что?

— Подождите, — сказал я. — Можно Вальку захватить? Я сейчас к нему сбегая — в соседнюю роту.

III

Наверное, во сне человек не слышит, как у него стучит сердце, и все-таки это смахивало на самый настоящий сон. В том, что происходило, я, конечно, участвовал, но сам этому вроде бы и не верил. Моя личная воля была тут ни при чем: ребята шли — я тоже. Шел и думал, что сейчас все кончится. Может быть, я немножко трусил.

Лес в темноте стал таким дремучим, что было удивительно, как нам удавалось идти. Я думал: еще немного — и мы повернем обратно.

Но мы не повернули и вышли к морю. Присели на большой горбатый валун. Совсем рядом чуть-чуть всплескивало море. Над ним тускло, в четверть накала, посвечивали редкие звезды. Пахло мокрым камнем, лесной прелью и водорослями.

Железнов шепнул:

— Причал тут рядом... Пойду подтащу шлюпку. Если засыплюсь, тикайте в роту.

Значит, он мог еще засыпаться. Тогда бы нам ничего не оставалось, как возвращаться.

— А там часовой? — спросил Чудинов. — Пальнет...

— Он без винтовки. Если и есть, то незаряженная. Патроны им будут давать, когда они присягу примут, понял?

Железнов так и сказал: «им». Он, наверное, считал, что мы уже на фронте. А «они», юнги, оставались здесь...

Мы сжались за камнем, каждую секунду ожидая услышать окрик часового. Но было тихо.

Рядом что-то глухо стукнуло, всплеснуло. Из темноты выросла приземистая фигура.

— Юрка, ты? — шепнул Чудинов.

— Порядок, — отозвался Железнов.

Я подумал: «Не засыпался...»

...Мы ничего не видели в темноте, но чувствовали, что берег отодвигается все дальше. Неужели и правда уплывем?

Берег отодвигался. Вплыв до него нам теперь было не добраться — это мы тоже почувствовали и, не сговариваясь, перестали грести.

— Ну? — нетерпеливо вполголоса спросил Юрка Железнов.

Ответил ему Валька.

— Надо все проверить, — зашептал он, начиная шарить по шлюпке. — Так, анкерок с пресной водой... Рангоут. А парус? Есть... Ял шестивесельный, понятно. Тут еще должен быть шлюпочный компас.

— Нет его, — буркнул Железнов.

Валька замер.

— А как же без компаса?

— Не дрейфь. Тут добираться-то... За ночь отойдем подальше, а там по солнцу — на запад. До Кольского полуострова пустяк, — горячо заговорил Юрка.

— В лесу я бы сориентировался, — сказал Чудинов.

— Что за вещмешок? — Валька опять начал шарить по шлюпке.

— Жратва, — ответил Юрка. — Немного хлеба и сушеная картошка. Пожевать.

— Откуда?

— Достал...

— Ну, так. — Валькин голос обрел твердость. — Взялись?

Да, лучше уж что-нибудь одно! Взялись так взяли! Мы остервенело налегли на весла.

— Вон Полярная звезда, — сказал Чудинов. — Вон она, видите? Надо, чтоб она была с правого борта, правда? Хоть ориентировочно.

— Всем найти Полярную звезду, — приказал Валька.

Мы опять перестали грести. Я посмотрел вверх, на тусклые звезды и остро, каждой мурашкой на спине почувствовал, как зыбко висит над морем наша шлюпка.

— Нашли? — спросил Валька. — Тогда внимание. Весла — на воду!

Он всегда мечтал стать моряком. Дома у Вальки я видел много книжек по морскому делу, он знал их наизусть и даже выучил флажный семафор. А сегодня в лесу он был такой кислый потому, что надоело, конечно, копать в земле. Зато

здесь, на море, Вальке ни капельки не страшно, и все согласны, что он командует.

Мы гребли долго.

— А где Полярная? — спросил Юрка.

Звезды исчезали: их, наверное, заволакивало облаками. Через несколько минут нельзя было отыскать ни одной. Мы были одни в мире, затемненном наглухо, как во время воздушной тревоги.

Я пожалел, что так и не пришел хлястик: в плотно застегнутой шинели все-таки теплее.

— Так, — слышали мы Валькин голос. — Грести будем по-сменному. Сейчас... — он поколебался, — сейчас отдыхать загребным.

— А кто загребные? — спросил Юрка.

— Вы с Серегой. Ложитесь на рыбины — вон там, между первой и средней банкой.

— Рыбины, банки... — глухо выговорил Железнов. Я услышал, как он вынимает весло из уключины. — Сейчас бы какую-нибудь рыбину вроде трески поймать!

— Рыбины — это решетки на дне, — снисходительно прозвучало в темноте. — А банки — скамейки. Теперь ясно? Завернитесь в парус и спите. Мы вас разбудим, когда устанем.

Нам удалось устроиться даже удобно. Шлюпку сонно покачивало.

— Слышь, Леха. — Железнов зевнул. — Батя твой будет доволен, что и ты воюешь. Может, поругает, конечно...

— Да, — не очень уверенно отозвался Чудинов.

— А кто твой отец? — спросил я.

— Кадровый военный. Сейчас, понятно, на фронте.

— А меня, знаешь, сколько ругали, когда убегал! — Юрка опять зевнул.

— Из детдома?

— Ага.

Больше он ничего не сказал.

Глухо постукивали уключины, в днище шлюпки звонко шлепалась вода, а Железнов спокойно сопел. Прямо мне в ухо.

Утром мы ничего не увидели — такой был туман. Нос шлюпки исчезал в нем. Мы сидели как оглушенные. Не было никакого моря — нас качал туман.

— Надо грести, — сказал Чудинов.

Мне вдруг вспомнился Сахаров и горячий, пахнувший дымом чай...

— Куда грести-то? — усмехнулся Валька.

— На кудыкины горы, — буркнул Железнов.

Мы взялись за весла.

Не знаю, сколько прошло времени. Туман исчез. Но плотные белесые облака наглухо затянули небо. Солнца не было видно. Земли — тоже.

Поднимался ветер, кое-где вспыхивали барашки. Сердце у меня замирало: только бы не разгулялось! Ведь чуть что — и захлестнет! Нет, мы все-таки герои: на какой-то шлюпке... в море!

— Рангоут ставить! — приказал Валька.
— Чего? — спросил Железнов.
— Суши весла — чего! Мачту надо поставить, пойдем под парусом... Шевелись! — Нос у него был красный, глаза блестя.

Мачту мы поставили. Ветер даже зашумел было в парусе, но вдруг шлюпка накренилась, вильнула в сторону, и мы, дружно вцепившись в парус, сдернули его.

— Амба! — решил Железнов. — Лучше грести.

— Дураки вы, — сказал Валька.

Леха вдруг вскипел.

— Заткнись!

— Ладно, — буркнул Железнов и потянулся за вещевым мешком. — Обед.

Валька обхватил обеими руками анкерок.

— А воды-то совсем немного! Мне давайте больше. Я командовал, в горле пересохло.

Чудинов и Железнов рассмеялись — это был недобрый смех...

Тут мы увидели солнце — вернее, то место, где оно окунулось в море: алую прорезь между краем туч и водой.

— Вот он, запад! — победоносно заявил Валька и перебрался на руль.

Он сумел повернуть шлюпку носом как раз в эту прорезь, а мы начали грести изо всех сил.

Потом стемнело... Весла пошли вразброд. Мне хотелось заткнуть уши, потому что от непрерывного плеска за бортом кружилась голова.

— Так, — сказал Валька. — Надо беречь силы. Трое спят — один дежурит. Ясно?

Эта ночь была холоднее, чем первая. И мы никак не могли уснуть. А утро все не наступало.

— Ничего, — сказал Юрка. — Сегодня доберемся. Должны...

...Я резко поднял голову, стукнулся обо что-то затылком и увидел Валькину спину. Он сидел на корме и чавкал.

Чудинов и Юрка лежали с открытыми глазами. Оба смотрели на Вальку.

Заяц покосился через плечо и перестал жевать.

— Пробу снимаешь? — негромко спросил Железнов.

Валька медленно повернулся на банке, положил вещевой мешок, не спеша отряхнул ладони.

— Идиоты... — процедил он сквозь зубы и поставил ногу на анкерок.

— Пустились без компаса! Эту проклятую картошку не проглотить, а... Зачем я только связался с вами!

Леха поднялся так резко, что шлюпку сильно качнуло. Он шагнул через банку прямо к Вальке, нагнувшись... Я зажмурился. Я думал, он ударит Зайца или сбросит его за борт. Но ни удара, ни всплеска не услышал. Я открыл глаза. Валька сидел на своем месте. Губы у него растягивались в испуганную, жалкую улыбку.

Леха поставил анкерок рядом с нами.

— Ребята, я не пил... — зашептал вдруг Заяц и умоляюще

сложил на груди посиневшие, гусиные руки. — Честное слово, не пил!.. Я только картошку попробовал...

— Дай мешок, — сказал Железнов, глядя на него исподлобья.

— На, пожалуйста... Сам посмотри, только попробовал. И не пил, честное слово.

Юрка пошарил в мешке, дал по горсти сухой картошки мне и Лехе.

Валька протянул ладонь.

— Убери, — сказал Железнов.

— Я ж только попробовал!

— Умолкни. Тебя здесь нет. Понял?

— Та-ак... — протянул Заяц и сжался на корме. — Та-ак... Заманили, а теперь... Дезертиры!

Леха вздрогнул и просыпал картошку.

— Дезертиры, дезертиры! — закричал Валька. — Все про вас знаю. Все расскажу! Дезертиры проклятые!..

— Стой! — Юрка схватил Чудинова за рукав. — Сядь... Будем грести.

Леха тяжело дышал.

И только теперь я, кажется, понял, что мы натворили. Мне стало страшно. Я огляделся. Берега не видно. Горизонт в тумане. Море — серый круг из воды, а в центре круга — мы. Холодно, пусто...

— Будем грести, — повторил Железнов.

— Дайте пройти на место, — плаксиво сказал сморщенный Валька.

Ему не ответили — только посторонились пропуская. Но за весло он не взялся, а разлегся на носу шлюпки и, всхлиывая, стал натягивать на голову шинель.

Леха оглянулся, потом посмотрел на Юрку.

— Будем грести, — третий раз сказал Железнов.

Чудинов кивнул и сказал мне:

— Садись за руль.

— На руль! — процедил Валька.

— Держи на какую-нибудь волну, что ли, — продолжал Леха, медленно краснея, — чтоб мы, главное, не кружили.

— И подсчитывай, — сказал Юрка.

— Два-а, раз...

Голос у меня сорвался. Юрка и Леха смотрели на лопасти своих весел. Я прокашлялся.

— Два-а, раз...

На какую волну держать? Они опадали, поднимались, кружили...

— Два-а, раз...

И не было солнца.

— Кого сменить? — спросил я.

— Леху, — кивнул Железнов.

— Нет, — сказал Леха. — Не надо.

— Два-а, раз...

А Заяца не существовало. Я со своего места видел, как он лежит, спрятав голову в шинель. Хоть бы лежал, хоть бы они опять не сцепились!

— Два-а, раз...



Мы садились на руль по очереди. И всё гребли, гребли, пока совсем не выдохлись.

— Попьем? — предложил Леха.

Лицо у него было серое. Я чувствовал, что у меня дрожат губы. Закружило нас море, завертело...

Юрка достал из мешка небольшую зеленую кружку. Наливал каждому меньше чем по половине.

— Ему тоже. — Леха кивнул в ту сторону, где уже сидел Заяц. Сидел и смотрел на анкерск.

Юрка нахмурился и протянул мне кружку с Валькиной порцией.

Рука у Вальки дрожала.

— Я не пил, — пробормотал он, — не пил...

Леха полез за пазуху, вытащил два куска хлеба — целую пайку и четвертушку. Четвертушку дал мне.

— Не узнаешь? Ты ее бросил...

Он разделил нетронутую пайку на три части, шагнул к Вальке и вдруг наклонился, как-то криво, левым боком упал, стукнувшись головой о край борта.

Юрка схватил, затормошил его.

— Леха, Леха!..

Обернулся, крикнул мне:

— Налей воды!

— Бескозырка-то...

Лехина бескозырка упала за борт. Я видел, как она намокла, как ее захлестнула волна — темная, литая, вся из холода.

— Воды, тебе говорят!

— Не надо, — выдохнул Леха. — Отдай ему хлеб...

— Ну уж!.. — сказал Юрка.

— Отдай... Все равно он слабее. — Леха поднялся на колени. — На, ты...

Валька взял хлеб из Лехиной руки, отпрянул назад.

— Ребята... — начал он.

— Умолкни, — буркнул Железнов. — Тебя здесь нет, понял?

И опять мы увидели место, где солнце окунулось в море. Увидели его за кормой.

Грести не стали: не было сил.

Я поднял воротник шинели и, наклонив голову, дышал в него — так теплее.

— Знаете что? — ясно прозвучал в темноте голос Лехи. — Пусть каждый расскажет о себе. Какой-нибудь случай из жизни. Так и ночь скоротаем.

«Еще чего», — подумал я. Не хотелось поднимать голову, не то что говорить.

— Идет, — отозвался Железнов. — Только о чем бы рассказать? Жил я в Смоленске. Городок что надо!.. — Он еле ворочал языком. — Один раз приезжали к нам артисты московские. Из оперетты. Я смотрел... Там три парня такую чечеточку отбивали — закон!..

...Наверное, эту сухую картошку надо было сосать вроде леденцов, а я жевал ее, да еще как! Теперь у меня весь язык и нёбо были исцарапаны, болели, и все во рту ссохлось так, что трудно было его открыть.

— Рассказывай ты, — глухо сказал мне Леха.

Голова у него, видно, замерзла — он тоже натянул на нее шинель.

— В оперетту я не ходил, был один раз в Художественном — смотрел «Синюю птицу». (Вот теперь я понял, почему Юрка

так говорил — из-за сухой картошки!) А однажды у нас в пионерлагере на Оке...

— Где лейка? — испуганно перебил меня Валька. — Мы ж так потонем. Смотрите, сколько в шлюпке воды!

— Какая лейка?

— Ну, черпак, совок! Надо ж выкачивать, а они сидят!

Лейку мы не нашли и стали выплескивать воду руками. У меня ничего не получалось. «Сейчас попрошу попить... — думал я. — Вот еще две пригоршни... Сейчас...» Руки окоченели. Спину было больно разгибать. Я попробовал встать («Сейчас попрошу!») и поскользнулся, упал — шлюпка чуть не черпнула бортом.

— Осторожно, — спокойно сказал Железнов. — Давайте бескозырками.

— У меня нету, — вздохнул Леха.

Мы вычерпывали воду бескозырками.

— Кажется, прибывает? — спросил Чудинов.

Юрка ответил:

— У меня уже в ботинках хлюпает.

— И у меня.

— Поднажмем! — сказал Юрка.

Потом он велел нам надеть спасательные пояса.

— Это пробковые жилеты, — подал голос Валька.

Ему не ответили.

Небо очистилось. Мы увидели звезды — первый раз с того вечера... Стали искать Полярную.

— Да, пораньше бы!.. — сказал Железнов.

— Вон опять туча наползает, видите? — спросил я.

— Это не туча, — сказал Юрка. — Это земля!

...Когда шлюпка уткнулась в песок, у нас еще хватило сил ее вытащить. Потом мы лежали на траве и слушали, как шумят сосны.

IV

Капитан второго ранга Иванов стоял, заложив руки за спину, и смотрел на нас презрительно из-под полуприкрытых век.

— Салаги... — процедил он. — Грести не умеют, парус ставить не умеют, а тоже — в море!..

Мы вытянулись по стойке «смирно» между письменным столом и дверью кабинета, а смотрели кто куда: в пол, в потолок, в окно, на модель эсминца в застекленном шкафу. Глазам не прикажешь...

— Пацаны несчастные! — сказал Иванов. — Если бы вы приняли присягу, я бы должен был отдать вас под суд военного трибунала...

Мы молчали. Пол все-таки еще покачивался.

— Вы как хотели воевать? — отчеканил капитан второго ранга. — Сами по себе? Без выучки? Не мальчишки уже!

Лоб у меня под бескозыркой взмок, его щипало от пота.

— Не думал, что нашей школе так быстро понадобится гауптвахта, — сказал Иванов. — Но ничего, вы же ее и постройте. И обновите... По десять суток — каждому!

— Есть! — пискнул Валька.

— Кру-гом! Привести себя в порядок и заходить по одному. Мы вышли в коридор.

— Пугает!.. — насмешливо сказал Заяц.

Леха поправил на голове новую бескозырку, проговорил негромко:

— Если бы мы пропали, под трибуналом был бы он...

Юрка молчал.

— Пойду! — решил Валька.

Он долго не возвращался. А когда вышел, у него, по-моему, не только нос — глаза тоже были красные.

Я пошел последним. Шагнул в кабинет, вытянулся:

— Товарищ капитан второго ранга, юнга Савенков по вашему приказанию прибыл!

Иванов молча меня разглядывал. Потом негромко, но очень ясно произнес:

— Маменькин сынок...

— Я хотел быть летчиком!

— А будете радистом, — усмехнулся Иванов. — Отличная специальность!

— Знаю, — сказал я. — «Интеллигенция флота»...

— Пришлите хлястик, интеллигенция!.. Сумеете, надеюсь?

Иванов отогнул подкладку фуражки и достал иголку с ниткой. Пока я пришивал, он сидел напротив за письменным столом и смотрел на меня в упор — я чувствовал. Но хлястик пришел и положил иголку на край стола. Положено в таких случаях говорить капитану второго ранга «спасибо» или нет?

— Покажите руки! — приказал Иванов. — Ну, ясно... Мозоли натерли?

Если на то пошло, мозолями я гордился. Вернуться когда-нибудь домой с крепкими, огрубелыми руками — чем плохо?

— Мне говорили, что тут учат на морских летчиков! — соврал я, глядя на модель эсминца в шкафу.

— Не хотите учиться в школе?

Мне нельзя было отступать: пусть не считает меня маменькиным сынком.

— Я хотел быть летчиком!

Иванов устало вздохнул, пододвинул мне бумагу.

— Пишите рапорт! Вот ручка. — Капитан второго ранга поднялся из-за стола.

Краем глаза я видел, как Иванов шагает по кабинету. Встать бы и сказать, что ничего я писать не буду, что вообще он еще посмотрит, какой я маменькин сынок... «Пишите рапорт!» Ну и напишу — подумаешь!..

— Знаете ли вы, товарищ юнга? — Иванов остановился у окна, спиной ко мне. — Знаете ли вы, что писал Александр Васильевич Суворов адмиралу Ушакову после победы русского флота при Корфу? Что желал бы быть в том сражении под начальством Ушакова хотя бы мичманом! Суворов — и хотя бы мичманом!.. Впрочем, не только писал, но приехал на корабли Черноморского флота и экзамены на мичмана сдал...

Но тогда авиации не было... Я тоже смотрел в окно — на кусок чистого голубого неба над соснами (вот и солнца хоть отбавляй!).

Иванов обернулся.

— Первый залп Октябрьской революции — залп крейсера «Аврора». Именно матросам нередко доверял самое ответственное Владимир Ильич Ленин. И сейчас — Одесса, Севастополь, Ленинград... И там моряки!

— А через Северный полюс в Америку — кто? — сказал я. — Чкалов! А Талалихин, Гастелло?

— Да. — Иванов кивнул. — Правильно и это... — Усмехнулся. — Пишите, я продиктую. Начальнику школы юнг капитану второго ранга Иванову. От юнга Савенкова.

«Запомнил!» Я вытер вспотевшую ручку обшлагом шинели.

— Ввиду того, что я хотел быть летчиком, прошу списать меня...

Тут Иванов замолчал, и я испугался. Потом вспомнил про Юрку и Леху и еще больше испугался. А как же они? Их тоже отпускают? Или они не писали?

У меня дрожали руки. Значит, домой?

— Прошу списать меня, — повторил Иванов, снова отходя к окну.

«Но как же Леха и Юрка?»

— ...Прошу списать меня по окончании школы юнг в летную часть в качестве стрелка-радиста!.. Подпись и число. Все.

Я почувствовал почти на ощупь твердый взгляд, потом увидел тщательно выбритый подбородок, убийственно белый срез подворотничка...

Иванов подошел, взял у меня рапорт. Положил его в папку и тщательно завязал тесемочки. Щелкнул ключ в ящике стола.

Мне показалось, что во мне тоже что-то щелкнуло. И отлегло от сердца.

Я вскочил.

— Разрешите идти?

— Только Заяц и вы написали рапорты, — сказал Иванов. — Чудинов и Железнов отказались. Из этих ребят моряки получатся.

— Ну и что? — Я чувствовал, что лицо у меня горит. — Зато... в летную часть! Буду летать!

Но себя-то не обманешь. Думал, что отправляют домой? Думал. Хотел этого? В какую-то минуту да.

— Будете и летать, — усмехнулся Иванов. — Но для начала отсидите десять суток. А потом окончите школу юнг. Все. Можете идти!

Я хотел козырнуть и повернуться по всем правилам, лихо. Не получилось...

V

Взяли в песке гладкие глыбы валунов. Ближе к воде их занесло толстым слоем водорослей, высохших, золотистых сверху. А те валуны, что сползли в воду, обнажались сейчас, тоже облепленные водорослями, но мокрыми — темно-бурыми.

Был час отлива.

Вода тихонько звенела и шлепалась о прибрежные камни. Дальше до горизонта лежала покойная гладь, осветленная белесым северным небом.

Теперь-то я знал, какая это гладь. Как говорится, «люблю море с берега»...

— Сбор через тридцать минут, — сказал старшина. — Задача: набить и зашить... Все ясно?

Каждому из нас еще утром выдали по две наволочки — для подушки и матраца. Надо было набить их водорослями.

— Только сухими, — предупредил старшина, — чтоб не прели!

Сегодня рота переселилась из палаток в кубрики. Мы с Юркой заняли койки на верхнем, третьем ярусе, а Леха — под нами, на среднем.

...Идти по водорослям было вязко, ноги утопали, как в ковре. Леха говорил:

— Это их во время шторма выбрасывает, я знаю. На Дальнем Востоке тоже так. У меня отец до войны служил в Приморье. Знаете, какая там тайга?

— И медведи есть? — рассеянно спросил Юрка.

— Конечно. Мы с отцом на охоту ходили. Тишина, снегом пахнет...

Железнов кивнул, не ответив, — смотрел на море.

— Значит, и медведи...

— Ну да! — сказал Леха. — Не веришь?

— Верю, почему же? — Юрка нагнулся. — Давайте собирать.

Мы разбрелись. Я прошел вперед. Потом оглянулся и увидел, что Юрка стоит и немного исподлобья, пристально смотрит на море.

На переносице у него прорезалась короткая упрямая складка.

Откуда-то появился Сахаров. Мельком взглянул на меня и двинулся, растопырив руки, к Железнову.

— Кто кого?

Тот улыбнулся — складка исчезла.

— Давай...

Через несколько секунд Юрка сидел сверху. Поднялся улыбаясь.

— Ну что?

— Нога подвернулась, — сказал Сахаров. — А ты ничего... Отъелся за десять суток! — Отошел и закричал: — Братцы, с кем покурим?

Юрка все улыбался, глядя ему вслед.

— Чудак!

— Жалеет, что сам не отсидел, — добавил Леха и усмехнулся. — Героем был бы.

Мы лежали на матрацах, набитых морской травой, хмелели от крепкого запаха водорослей и смотрели на море. Нет, не были мы героями, хоть и не каждый, может, решился бы... Закрутило нас оно, закружило!

— На Дальнем Востоке я первый раз и океан увидел, — задумчиво проговорил Леха. — И решил, что пойду на флот... А ты, Серега, не жалеешь?

— Нет, — ответил я.

В облаках появился просвет, выглянуло солнце. Море в одной стороне зарябило, заискрилось, а в другой чуть потемнело. Ветер очнулся и побежал к лесу.

Освещенные солнцем, повеселели сосны.

«Станови-ись!..» — повисло над берегом.

Началась строевая подготовка.

Я иногда оглядывался — смешно было видеть со стороны: матрацы лежали, грелись на солнышке, как тюлени, а их хозяева — вся рота — утрамбовывали на берегу и без того твердый, наверное, смерзшийся уже песок.

— Равняйся! Смирно!

И пауза.

— Шаго-ом... марш! Нале-во! На месте!

Мы поворачивались, шли, опять поворачивались, останавливались, поворачивались, шли...

Со стороны, может, было и смешно...

Занятия с нами вел новый командир смены старшина первой статьи Воронов — сухощавый, жилистый, лет сорока пяти; лицо с морщинами, а глаза хитровато-веселые. Бескозырка у него была без каркаса, без пружины под кантом; около звездочки — две лишние вмятинки. Так носили бескозырки революционные матросы-балтийцы в семнадцатом году.

— Будем отрабатывать подход к командиру, — сказал Воронов, когда мы сто первый раз остановились и повернулись налево.

Он стал вызывать нас из строя по одному.

Вот так же, бывало, на репетициях в драмкружке: краснень по чему-то за товарища, когда он выступает, и думаешь: «Сейчас моя очередь...»

— Юнга Железнов, ко мне!

Юрка нерешительно бежит (рассчитывает, когда останутся три шага, которые нужно пройти «строевым»), переходит на строевой и, останавливаясь, подносит руку к бескозырке:

— Товарищ старшина, юнга Железнов по вашему приказанию прибыл!

— А что вы смотрите исподлобья? — спрашивает вдруг Воронов.

В строю — хохоток. Я вижу, как Юркина рука вздрагивает.

— Становитесь в строй.

— Есть.

Железнов поворачивается кругом. На переносице у него — складка.

— Юнга Чудинов, ко мне!

«Все ясно, — думаю я, — привязался к нам троим».

Широкое лицо Лехи пылает: у него не сразу получается. Ничего, я постараюсь за всех! А может, не вызовет?

— Юнга Савенков, ко мне!

— Товарищ старшина первой ста...

— Отставить! Как держите руку?

На третий раз получается.

— Юнга Сахаров, ко мне!

Сахаров тонок, строен, шинель ладно подогнана (когда он успел?). Четко подходит, козыряет. У него получается.

— Потренируйтесь-ка друг с другом, — решает старшина.

Он разделяет нас на пары. Нарочно, что ли?

— Юнга Савенков, ко мне! — злорадно кричит Сахаров. Бегу к нему, а он отступает спиной к лесу и ждет, криво улыбаясь.

Делаю три строевых шага.

— Товарищ... командир, юнга Савенков по вашему приказанию прибыл!

Сахаров молчит.

Я опускаю руку.

— Ну?!

— Разговорчики!.. — Он округляет глаза. — Команды «вольно» не было.

Несколько долгих секунд мы смотрим друг на друга.

— Кругом! Шагом марш! Напра-во! Юнга Савенков, ко мне!

Ничего, подойдет и моя очередь...

— Во-о-здух!.. — кричит кто-то.

И наступает такая тишина, что в ней слышен один только звук — подвывающий, прерывистый...

— «Юнкерс»!

Это я сказал. Сам не знаю, когда успел рассмотреть. Мы уже бежим к лесу. Кто-то визжит. Визг все сильнее, пронзительнее. И я вдруг соображаю, что это бомба.

Визг еще не оборвался, а взрывная волна уже схватила меня за шиворот, ударила пониже спины, бросила к лесу, до которого я двух шагов не добежал.

Рядом тотчас падает Воронов. Это он меня, а не взрывная волна... А визг прекратился. Жутко...

— По-пластунски — в лес! — вполголоса приказывает старшина.

Слева ползет Леха, впереди — маленький лупоглазый Вадик Василевский (правда, что «прыткий»!) и сам Сахаров. А где Юрка?

— Железнов! — рывкает старшина. — Куда, стервец?!

— Может, он парашютистов сбросил? Надо же посмотреть!

Отрывисто затаивали зенитки.

— В лес! Без тебя обойдутся...

Мы ползли и ползли — между сосновых стволов, под лапами елей. Наконец Воронов приказал подняться и огляделся.

— Юнга Железнов, ко мне!

Я услышал треск сучьев, увидел, как Юрка поднес руку к бескозырке. Глаза у него обиженно блеснули.

— Найдите командира роты. Доложите, что бомба, по моим наблюдениям, упала в районе трех валунов на южном мысу и не взорвалась. Ясно?

— Так точно! — заорал Юрка и бросился сквозь кусты напролом.

Поднялся гвалт:

— Ой ты, как завизжит!..

— За нами охотятся! Пронюхали, что ли, что мы здесь?

— Матрацы бомбил! Ха!..

— И то не взорвалась!..

— Цыц! — сказал Воронов. — Второй фронт тут открыли...

VI

Я открываю глаза. Совсем близко надо мной, на потолке, колеблется круглое красноватое пятно: это внизу, на столе, горит копилка. Странно, не слышно ни ветра, ни сосен...

— Подъем!

Все проснулись, но никто не шелохнется.

Метнулось на потолке пятно света. Внизу скрипят кровати командиров смен — нашей и соседней, которая спит напротив, у другой стены кубрика.

Юрка побряхтел, поворочался и затих.

— Что же ты? — шепнул я.

— Да ну... — Он вздохнул. — Не встану: наш новый подумает еще, что выслуживаюсь.

— Подъем, — спокойно, даже заинтересованно сказал Воронов.

В ответ кто-то тягуче, с наслаждением зевнул. Мы насторожились.

— Так, — сказал старшина.

И вдруг мы услышали шлепок. Кто-то испуганно ойкнул и кубарем скатился со своего матраца.

— Кто бросается-то? Ща как дам!..

— Не узнаете ботинок командира? — спокойно спросил Воронов.

— Гы-ы!.. — обрадовался Юрка. — Во дает!.. — И прыгнул вниз.

За ним с веселым гогом посыпались остальные.

Натягивая брюки, Леха восхищенно крутил головой.

— Ты знаешь, что он на «Авроре» служил? Знаешь?

Воронов, уже одетый, молча поглядывал то на нас, то на свои большие наручные часы, поворачивая руку так, чтобы на нее падал свет копилки. В полумраке слышно было сопение, стук ботинок, переругивание. А напротив так же копошилась другая смена, и старшина их все приговаривал вполголоса:

— Ну-ка, юноши, не посраимся...

Начался первый день жизни в кубике, первый день занятий. А сколько уже было всякого: море, разговор с капитаном второго ранга, бомба... Я, пока одевался, обо всем этом передумал. И опять видел, как тонет Лехина бескозырка, как противно дрожит Валькино лицо — «Ребята, я не пил...» — и как смотрит на меня Иванов: «Маменькин сынок»... А бомба! Ее подорвали минеры из учебного отряда — я слышал, я всем телом почувствовал, что земля сдвинулась. Всю душу перевернули мне эти дни, и вот настал новый день — и будто ничего не произошло: опять команды, команды...

— Становись!

Построились.

Воронов посмотрел еще раз на часы, на нас — и рассмеялся.

— Умора!..

Мы тоже улыбнулись — растерянно. В чем дело? Мы гордились тем, что встали сразу и посрамили все-таки «юношей» из соседней смены: они еще не строились.

— Умора!.. — повторил Воронов. — Семь минут одевались. А? Как вас назвать-то после этого?

Мы не знали, как нас назвать...

Главстаршина Пестов командовал:

— И — раз!

Мы коротко нажимали на головки ключей: точка.

— И — раз, два!

Нажатие на два счета — тире.

— Теперь — прием на слух. Не пытайтесь считать, сколько в знаке точек и тире, — говорил главстаршина Астахов, прохаживаясь между столами. — Так вы никогда не станете радистами! Знаки нужно запоминать на слух.

— Например, — подхватывал Пестов, — семерка. — это два тире, три точки. Но запоминайте на слух: «Та-а, та-а, ти, ти, ти» — «Дай, дай закурить». Ясно?

— Спрячьте ваши улыбочки! — приказывал Астахов. — Теперь попытайтесь запомнить двойку. Две точки, три тире: «Ти, ти, та-а, та-а, та-а» — «Я на горку шла». «Ти, ти, та-а, та-а, та-а» — «Пирожок нашла»...

— «Ти, ти, ти, та-а, та-а!» — «Какая ра-адость!» — сдержанно улыбался Пестов. — А это я пропел тройку...

Занятия радистов начались в общем, большом классе, где на столах были смонтированы радиотелеграфные ключи, а на стенах висели длинные листы со значками азбуки Морзе. Азбука казалась нам такой же непостижимой, как первоклассникам — таблица умножения. А эти «я на горку шла» трудно было принять всерьез — сколько же времени нужно, чтобы стать радистом, если начинать с такой чепухи?

Мы внимательно приглядывались к нашим инструкторам. За четыре часа занятий они по очереди садились за ключ. На Пестове — черноволосом, с бачками, идеально выбритом — все блестяло: тщательно причесанные волосы, бляха ремня, ботинки и зубы, если он приоткрывал рот. А рот у него открывался, когда главстаршина работал на ключе — такая, наверно, у него была привычка.

Его звали Михаилом: он и свое имя и имя Астахова — «Леша» — оттарабанил на ключе. (Мы, конечно, на слово ему поверили.) А главный старшина Астахов не был похож на своего спокойного, даже немножко медлительного друга — светловолос и, кажется, вспыльчив. И когда работал на ключе, губы у него сжимались. Но мы нашли все-таки какое-то сходство между ними, как между братьями. И в первый же день к обоям пристало новое, комбинированное имя: Милеша Пестахов. Это Сахаров придумал. Правда, тут же сказал Юрке:

— Я бы на их месте на фронт сбежал и трибунала бы не боялся... «Пирожок нашла»!..

В окна заглядывали кроны сосен.

Астахов, сжав губы, нажимал на ключ.

— Повторяю, семерка!

А Пестов прохаживался между столами и спрашивал:

— Запомнили?

В тот вечер мне удалось пробраться поближе к печке — даже роба на коленях нагрелась и лицу было жарко. Трещали дрова, отсветы огня плясали на круглых лицах ребят, и давно знакомым казался хрипловатый голос Воронова.

— Солнце едва взошло, — рассказывал старшина, — только клотики и осветило. Вода в гавани тихая. Ровненько, борт к борту, стоят миноносцы. А на корме каждого — горнист. И вот, значит, солнце, склянки бьют, и разом во все горы — подъем!

Леха вздохнул.

— На кораблях, конечно, все по-настоящему...

— Да, там — моряки, — усмехнулся старшина.

— А за сколько минут встают моряки, товарищ старшина? — наглово, заискивая, спросил Сахаров.

— Умора!.. — ответил Воронов. — «За сколько минут!..» За одну, ясно?

— На миноносцах и мы так будем.

— Это как повезет... Подложи-ка еще полence, Савенков. Вот так... Это куда направят, а то и на «самоваре» служить придется.

— Гы... — Юрка замер.

— «Гы!» Была тут, на Северном флоте, такая боевая единица. Ее-то «самоваром» и прозвали... Между прочим, любое судно, если оно ходит под военно-морским флагом, — это боевая единица. Даже шлюпка. Ясно? Ну, а ребятам обидно было... В море он не ходит: мал. Команда — три человека: старшина за командира, рулевой да моторист. По береговым постам продукты развозят, горючее — вот и вся их морская служба. «Самоваром» и прозвали... Чапает катерок через гавань, а с кораблей: «Эй, на «самоваре»! Труба раскалилась! Как бы вам не закипеть!» А труба — красная, длиннющая, с таким коленцем...

Слабо стрельнуло в печке. Угли отбрасывали ровный свет на лицо старшины. Худошавое, с резкими складками около губ и чуть великоватым носом, оно казалось усталым.

— Ну вот... Началась война. Служба на «самоваре» — все та же. Пошли они как-то на дальний береговой пост и на полпути увидели перископ — немецкая подлодка! Фашист на них никакого внимания не обратил. Поворочал перископом и не спеша опустил его. А катерок полным ходом — к подлодке...

— Строиться на вечернюю поверку! — ворвался в кубрик дневальный по роте.

Хлопнула дверь. Воронов замолчал.

— Ну? — спросил Леха.

— Строиться на вечернюю поверку, — поднялся старшина.

VII

— Стой, кто идет?

Не пойму, чего больше в этом окрике из темноты — угрозы, надежды или тревоги. Так много интонаций, что мне становится зябко: я еще не слышал, чтоб у Сахарова был такой голос.

Разводящий отвечает.

— Разводящий, ко мне, остальные на месте, — облегченно командует Сахаров.

Свет карманного фонарика, скользнув по фигуре, падает вниз. Теперь видна широкая траншея — вход в подземный склад боепитания.

По команде разводящего я подхожу и убеждаюсь, что дверь склада опечатана. Потом слушаю, как они уходят.

Словно кто-то отнял ладони от ушей: лес гудит, стонет так протяжно, что кажется — вот-вот захлебнется ветром.

Я беру винтовку наперевес.

На поляне неровными пятнами лежит снег. Если долго смотреть на них, пятна начинают расплываться, их съедает темнота. А вглядываясь в черную стену леса — опять откуда-то появляются белые пятна.

Постоять в траншее? Нельзя — оттуда и этого не увидишь.

Разводящий и Сахаров уже, конечно, в караулке. В теплой, чисто выбеленной комнате, где ярко светит лампочка без абажура и от пирамиды с винтовками падает тень на стену. А на стене в рамке — присяга, и до нее дотягиваются удлинённые кончики штыков.

Говорили, что после того, как мы примем присягу, нам выдадут ленточки и флотские ремни с бляхами. Присягу мы приняли. И получили оружие — винтовки образца 1891—1930 гг., знаменитые русские «трехлинейки». А ленточки и ремни — пока нет. Но сейчас шинель на мне туго перепоясана, в правое нижнее ребро уперся подсумок, а в нем — настоящие патроны. Этот ремень мне выдали только на сутки, в караул. «Несение караульной службы является выполнением боевой задачи», — так написано в уставе.

...В той комнате есть еще печка, скамья, бачок для кипятка и стол, покрытый красным сукном. А на столе, тоже в красной обложке, одна-единственная книжка — это устав.

В нем все ясно, как в букваре: печь топить с восемнадцати часов, кипяток иметь круглые сутки, в помещении поддерживать тишину и порядок, «отдыхать лежа (спать), не раздеваясь»...

Сахаров сейчас, наверное, «отдыхает лежа» — спит.

Посветлело как будто... Я не сразу догадываюсь, что это луна. Появится или нет? Она где-то рядом — теперь можно рассмотреть, как быстро летят облака.

...Интересно, те два парня из соседней роты — за что им ордена дали? И тех ребят, с «самовара», тоже наградили. Хорошо, что у них были глубинные бомбы. Потопили подлодку, надо же!.. А может, я сейчас диверсанта задержу? Может, тот «юнкерс» все-таки его сбросил? Хотя нет, вряд ли...

Руки озябли. Прижав винтовку к локтю, я прячу их в карманы шинели и в правом нащупываю плотный конверт.

Мама пишет: «Обязательно соберу тебе посылку», или: «Обязательно на днях соберу посылку»?.. Я ощупываю письмо. Никогда не могу вспомнить точно. Очень хочется перечитать сейчас же!..

— Стой, кто идет?!

Я спрыгиваю в траншею. За спиной у меня — опечатанная

дверь склада, а впереди... Теперь я узнал его: политрук роты лейтенант Бодров.

— Стой! Кто идет?

Остановился? Нет.

Я щелкаю затвором.

— Стой! Стрелять буду!

Остановился. То-то!..

— Кто на посту?

— Юнга Савенков!

— Давно стоите?

— С двадцати четырех часов, товарищ лейтенант.

— Ясно, — говорит он. — Ну и погода!.. Не замерзли?

— Нет, что вы, товарищ лейтенант!

Похвалит он меня за бдительность?..

— Так... Продолжайте нести службу.

— Есть!

Бодров поворачивается, собираясь уходить.

— Товарищ лейтенант...

— Да?

— Скажите, пожалуйста, сколько времени?

— Пять минут второго.

— Благодарю.

Поговорили... Жаль, что мало. А все-таки легче. Но неужели сейчас только пять минут второго?

Ошибся, наверное, лейтенант: часа два теперь или около этого... Может, пять минут второго было, когда он пошел проверять посты? И пока мы с ним говорили, тоже время прошло.

Холодно. Ветер все сильнее. Насчет погоды он правильно сказал. А что сейчас в море творится!.. Зато в кубрике хорошо. Спят все. Дневальный слышит, как похрапывают ребята.

Я решаю постоять немного в траншее. Здесь тише, но как-то не по себе. Опять выхожу, оглядываюсь. И цепенею: шагах в пяти от меня кто-то лежит, упершись в землю руками и растопырив локти.

— Встать!

Голос у меня чужой. Вокруг только гудящая темнота, полная движения, которого я не вижу.

— Встать!

Замахиваясь винтовкой, я шагаю вперед и в самый последний момент понимаю: передо мной пень. Ахнув от ярости и еще не прошедшего страха, я изо всех сил всаживаю в него штык.

...Тихонько шепчутся сосны. Их желтоватые стволы ясно выделяются на побуревшей еловой хвое. Над ними ровное серое небо, а внизу — нетронутые островки первого снега. И мне эти скупые краски кажутся красивыми. По крайней мере четко, понятно и ничего не сливается.

Сейчас, днем, все здесь выглядит по-другому: довольно редкий лес, бестолковые следы на поляне, траншея... Только этот вывороченный пень похож все-таки на человека, который готовится прыгнуть.

Я подхожу к нему, пинаю ботинком. И улыбаюсь: пень весь исколот штыками — весь! Значит, не я один с ним сражался...

Кончатся мои первые сутки в карауле.

А мама пишет: «На днях непременно отправлю тебе посылку», — теперь помню точно.

...Вечером мы возвращаемся в роту.

Воронов, он был начальником караула, выстраивает нас в кубрике. Вызывает из строя Сахарова и объявляет ему благодарность за отличное несение караульной службы.

— Служу Советскому Союзу! — отрывисто говорит Сахаров и становится в строй.

— Юнга Савенков!

Ага, мне, значит, тоже!.. Выхожу из строя.

— Юнге Савенкову за разговоры на посту с посторонним лицом два наряда вне очереди!

— Есть два наряда...

— Громче!

— Есть два наряда вне очереди!

— Становитесь в строй.

«Дурак! — говорю я себе. — Маменькин сынок!..»

VIII

Время идет. Как говорится, привыкаем...

Заправляешь утром койку — исчезают последние обрывки каких-то домашних снов, а разбираешь ее вечером — день, который прошел, можно потрогать рукой: плечо помнит тяжесть винтовки, ладонь — бугры морских узлов, пальцы — головку радиоключа.

Домашние сны сняты все реже...

Сегодня была боевая подготовка: марш-бросок, атака, занятия на стрельбище. Когда-то мы сидели около валуна, вокруг трещали костры, и в озере отражались облака, похожие на снег. И мне казалось, будто все, что со мной происходит, не настоящее... А сегодня я полз по тому самому месту, где плавали облака, полз по-пластунски: вдавливался телом в снег, тащил за ремень винтовку, отплевывался снегом и моргал изо всех сил, потому что некогда было протереть залепленные им глаза.

— Товарищ лейтенант, дневальный по кубрику юнга Сахаров.

Он доложил вполголоса, как и положено докладывать после отбоя.

— Вольно, — негромко ответил Бодров.

Я, наверное, стал засыпать: не слышал, как политрук вошел в кубрик. Любит он проверки устраивать! Но теперь это меня не касается. Дневальный не я, а Сахаров. Он отдыхал перед заступлением в наряд, когда я полз по-пластунски, когда старшина роты прохрипел: «Справа, короткими перебежками — вперед!», и я вскочил, увидел, что до сосен рукой подать, но бежать в глубоком снегу было, ой, как трудно! И гранату — настоящую, боевую — я бросил точно, прямо в макет. Воронов похвалил. Так что отдых заработан честно, а время, отпущенное на сон, мне никто не прибавит — ни политрук, ни тем более Сахаров.

...Бежать было трудно. За соснами опять открылась поляна, и в этом месте мы скапливались для атаки.

Осенью там желтели толстые кочки.

О чем думает человек, когда ползет по-пластунски, а потом лежит, кося глазом в небо и ждет сигнала идти вперед, в бой? Не знаю. Может быть, о всякой всячине. Я думал о том, что время идет и замерзает озеро. И выпадает снег. О том, что я тосковал когда-то, глядя, как плавают в этом озере облака, а сегодня прополз по нему, замерзшему, по-пластунски и почувствовал, как оно, время, идет и как меняет не только все вокруг, но и что-то во мне самом. Когда-то я, озябший, радовался теплу от костров, а теперь разгребал голыми руками снег, и они будто варились в нем — такие были красные и горячие.

Бывает, додумаешься до чего-нибудь простого, известного, а кажется — открытие сделал. Это потому, что сам додумался.

Потом я увидел на снегу пятнышко крови. Осмотрел руки — нигде ни царапины. Откуда же оно? Пригляделся, потрогал его пальцем — клюква, оказывается. Самая настоящая клюква. Ну да, осенью здесь желтели кочки — значит, на болоте росла клюква. Я осторожно разгреб снег и сразу нашел еще две ягоды. Крупные, пунцовые. Они оттаивали во рту и сладко лопались — в жизни не пробовал ничего вкуснее!

— Дневальный, чья это роба? — спросил политрук.

...И тогда я заторопился: знал, что вот-вот поднимут в атаку, а найти хотя бы одну, только одну еще клюквину казалось очень важным.

— Юнга Савенкова! — громче, чем нужно, ответил вдруг Сахаров. И добавил презрительно: — Не мог сложить как следует.

Я стиснул зубы.

— Разрешите его разбудить? — Сахаров радостно прищелкнул каблуками.

...Нашел я тогда и третью. Но поднять не успел. Край неба, верхушки сосен качнулись, освещенные красной ракетой. Двинулся навстречу лес. Я бежал. Ударил одно чучело штыком, сшиб другое прикладом!..

Сейчас встанет на скамью, ткнет меня кулаком в бок и пропишет: «Савенков, поднимитесь и сложите форму, как положено!»

И поднимусь. Придется. Слезу — в тельняшке и подштанниках — со своего третьего яруса. А лейтенант и Сахаров будут смотреть, как я слезаю. Унизительно! Унизительно вставать в таком виде перед командиром, у него-то шинель — на все крючки и каждая пуговица сияет! А тут еще Сахаров...

Внизу, на длинной скамье, все сложили свои роботы — сложили аккуратно, прикрыв сверху синими матросскими воротничками. Как положено.

А я просто забыл.

— Сам разбужу, — сказал политрук.

Еще не легче: пожалуй, выговор влепит!

Я открыл глаза и тут же опять зажмурился. Отвернуться к стене? Не успею. И какой толк!

А Бодров уже вставал на скамью. И чего ему не спится?

...Одно чучело штыком, другое — прикладом. И сердце так колотилось! Атака совсем не казалась игрой — это была боевая подготовка.

Я чувствовал, что политрук смотрит на меня. Потом услышал, как он вздохнул.

— И руки под щеку, — удивившись чему-то, тихо сказал лейтенант.

Он слез обратно. И произнес совсем другим, недобрый голосом:

— А вы почему не проследили? Поправьте сами.

— Есть.

На этот раз Сахаров каблуками не щелкнул.

Послышались шаги, и дверь негромко хлопнула.

Эх, жалко, политрук не видел, как я сегодня на стрельбище бросил гранату! Встряхнул ее — в ней зажужжало, и очень захотелось поскорее бросить ее, ожившую, но я все-таки прицелился — и в самый макет! «Порядок, — сказал Воронов. — Молодец». Я распрямился и увидел, что с верхушки сосны сыплетсЯ снег. А Леха, бросив свою гранату, присел рядом со мной на дне окопа и достал из кармана целую горсть клюквы: «В снегу откопал. Попробуй, вкусная!»

...Сахаров потянул мое одеяло. Но ведь ему было приказано самому поправить! Я, улыбаясь, свесил голову и увидел широко Лехино лицо. Он приподнялся на своей койке — подо мной, вытянул голову и дергал за одеяло.

— Савенков!

— Ау, — сказал я.

— Встань и сложи форму, как положено, — сказал Леха.

Я даже не сразу понял: «Что это он?..»

— Слышишь?

Сахаров смотрел на Чудинова с интересом.

Я подумал, медленно откинул одеяло. Слез со своего третьего яруса. Сложил робу и аккуратно прикрыл ее синим воротничком с тремя белыми полосками.

— Лучше, лучше! — сказал Сахаров.

Холодно было стоять босиком. Я сел на скамью, вытер ноги, посмотрел на койку старшины. Воронов спал, а может, и не спал. Лицо у него было довольное.

А Леха отвернулся к стене.

Я покосился на Сахарова. Он с интересом смотрел на затылок Чудинова.

Ладно, время, отпущенное на сон, мне никто не прибавит.

— О чем бормочешь? — спросил вдруг Юрка, когда я, наконец, улегся.

— И чего вам не спится сегодня!

— О чем?

— Так, — вздохнул я. — Время идет, все меняется: и природа и люди.

— Да ты философ! — сказал Железнов.

IX

Сыто гудела набитая дровами печь. Вадик Василевский сидел перед ней на корточках и пел:

Когда в море горит бирюза,
Опасайся шального поступка...

Брился старшина.

А на столе лежала посылка.

Тот не получал подарка, кто далеко от дома не держал в руках такой ящичек. На нем даже сургуч и печати кажутся особенными. В нашем кубрике посылки еще никому не приходили. Мне первому. Я ее нес, и все оглядывались: «Посылка! Из дому...» А сейчас она лежала на столе, и ребята даже письма читать не начинали — смотрели на ее сургучи и улыбались.

Жалко, что мама никогда этого не увидит. И рассказать не расскажешь, а жалко, что она никогда не увидит этих ребят в матросских робах и не услышит, как печка гудит, не почувствует, как у нас празднично из-за ее посылки: мы вроде смотрим друг на друга какими-то новыми глазами, и непонятно почему, но гордимся, что живем в одном кубрике и получаем посылки с Большой земли.

— Хочешь, открою? — предложил Сахаров.

— А чем?

Юрка протянул мне штык. Я поддел крышку, нажал. Скрипнув, обнажились тонкие гвоздики.

— Подожди-ка, — сказал вдруг Леха. — Встряхни... Есть там коржики?

Сахаров поднял руку.

— Тихо! Радисты принимают на слух...

Все рассмеялись.

— Так не понял, — признался Леха.

— Сейчас посмотрим. — Я снял крышку и отложил в сторону.

— Бумажка, — пропел Юрка. — А под ней? Носки!

— Теплые...

— Одеколон!

— Ого!.. Зачем он тебе?

— Мама — сам понимаешь...

— Коржики! — объявил я.

Сахаров отвернулся.

— Не люблю сладкого.

— А ты попробуй. Мама ведь прислала.

Он остановился вполоборота.

— Ну, давай уж...

Чудак, зачем он все старается отличиться? Был бы ведь неплохой парень...

Мы жевали коржики и читали письма.

В кубрике пахло оттаявшей корой, чуть-чуть дымом и шишелями. Пахло и привычно и тревожно, как в дальней дороге.

— Чего ты? — спросил Юрка. — Заскучал?

— Нет.

Просто я совсем, оказывается, забыл вкус коржиков. Или он показался мне другим.

Вадик Василевский жует и в потолок смотрит. Новые, наверно, стихи сочиняет Смешной он! Ему еще и пятнадцать нет — самый молодой и самый маленький юнга в роте. Старшина роты мычит, как от зубной боли, когда видит, как Вадик, в шинели до пяток, вышагивает в строю в самом конце, на «шкентеле». Мы уже научились ходить широким флотским шагом, а у Вадика не получается. Зато он стихи сочиняет — и хорошо выходит!

— М-м... — промычал Леха. — Отец пишет: «Мы с тобой, Леха, еще сходим на охоту. Возьмем двустволки — и в тайгу, с ночевкой». А помнишь, я рассказывал, как мы с ним в снегу спали?

Юрка молча кивнул. Он ел сосредоточенно, не торопясь — так едят то, чего не приходилось еще пробовать.

— Теперь от сестры почитаем, — сказал Леха и надорвал второй конверт.

— Она молодая? — спросил Сахаров.

— Двадцать один.

— Старовата...

— Заткнись! — Леха рассмеялся, сунул в рот коржик.

А про Юрку и Леху я бы рассказал побольше, чем о других. Хотя нет, пусть лучше они, когда война кончится, приедут ко мне домой в отпуск.

— Вот же! Вот оно... Где? — засуетился вдруг Леха. — Где письмо? Вот же отец сам пишет! Про охоту, и все...

Он поднял глаза и виновато улыбнулся.

— Сам...

За дверью кто-то затопал, сбивая с ботинок снег.

— Ну, у кого здесь одеколончик? — подошел Воронов. — После бритья хорошо бы

Глядя на Леху, я протянул старшине флакон. Воронов отошел. Леха медленно поднимался со скамьи. Встал, пошевелил губами и глухо сказал:

— Мой отец... смертью храбрых!..

А коржик еще не доел — стоял с оттопыренной щекой и смотрел куда-то мимо нас.

Расползался приторный запах одеколona. Гудела печь.

Хлопнула дверь.

— Юнга Савенков! — услышал я голос старшины роты.

— Есть!

— За вами наряд вне очереди... Завтра — рабочим по камбузу. Ясно?

Чаще всего Леха рассказывал, как они ходили на охоту — отец и он. У Лехи была малокалиберка. Он считал, что самое главное — это метко стрелять. Только теперь, когда сам начал службу, Леха понял, что отец прежде всего учил его любить тайгу. Любить, а потом уж стрелять. «Чуешь, — спрашивал он, — как снегом-то пахнет?..»

И, может быть, потому, что за дверью кубрика вставая дремотный, укутанный в снежные сумерки лес, мы хорошо пони-

мѣли, о чем говорил Леха. Майор Чудинов стал для нас давно знакомым, живым человеком.

А он уже несколько дней не живой... Его больше нет. Как же теперь Леха будет о нем рассказывать? Ведь нет у него отца, нет!

Я бросил шуровать в топках на камбузе, присел на поленицу дров и сжал руками голову: первый раз по-настоящему почувствовал, что значит — не стало человека... Вчерашнее письмо, в котором говорилось про охоту, было последним. Вчера был последний день, когда Леха мог говорить: «Мы с отцом», а сегодня — все!.. Сегодня жизнь уже другая, потому что майора Чудинова в ней больше нет. Нет!..

Пришел старший кок, позевывая, заглянул в одну топку, в другую. Засопел.

— Так и к обеду не вскипятим...

Подбросил дров, ковырнул в топке кочергой, постучал, плюнул туда — и пламя напряженно, обрадованно загудело...

Котлы были вмазаны в квадратную печь, примыкавшую к длинной, широкой плите с отдельными топками. Это сооружение стояло в центре просторного зала, уставленного по стенам разделочными столами. Камбуз освещали три электрические лампочки. Окна черно блестели.

Старший кок стоял у разделочного стола, пробовал на палец острие длинного ножа и следил за моей работой.

Вода в котлах уже кипела, когда за стенами камбуза послышались песни — роты шли на завтрак. Тяжелые ботинки юнг затопали в соседнем зале, загремели миски, поднялся гвалт и, перекрывая его, запели старшины рот: «Внимание-е-е!.. Головные уборы-ы... снять! Садись!»

Вместе с другими рабочими по камбузу я кинулся разносить по столам бачки с чаем. Когда роты ушли, мыл столы, драил палубу, таскал воду в ненасытные котлы и чаны, а потом — мешки с сухой картошкой.

И вспомнил, как на шлюпке Валька заорал: «Дезертиры!» — и как Леха просыпал свою порцию этой картошки. Он тогда здорово беспокоился, что скажет отец.

— Запарился? — почему-то злорадно глядя на меня, спросил длинный как жердь юнга с острым кадыком, тоже рабочий по камбузу. — Это еще цветики!.. Я не первый раз... Службу понял. Зато — рубане-ем!.. — Он даже глаза прикрыл.

«Рубанули» после того, как отобедали роты: чуточку первого, порции по три — каши, обильно политой маслом, и по полной миске компота. У длинного кадык так и ходил. Я выбирал в компоте ягоды, а когда поднял голову, его за столом уже не было. Такой бы на шлюпке и парус, наверное, сжевал!

Подошел старший кок и приказал мне вычистить котел из-под каши. Начинались «ягодки»...

Котел еще не остыл. Когда я наливал в него воду, она быстро становилась горячей. Сидел я на краю печи боком, ноги держал на весу, горизонтально, и до пояса свешивался в эту преисподнюю, обклеенную скользким слоем пшенки.

К горлу противно подкатывало. Неужели мне когда-то хотелось есть?

«А все этот, — думал я, — кадыкастый! «Рубане-ем!..» И отдирая ножом запекшуюся корку, вспомнил Леху: во время обеда он сидел, уставясь в свою миску, и ничего не ел. Мне стало совсем тошно.

После ужина опять надо было драить палубу, снова чистить котлы и носить воду для завтрашнего чая. Руки у меня так пропитались жиром, что не отмывались даже горячей водой. Роба пропахла обедками.

Но и этот день кончился. Я возвращался в роту. Торопливо скрипел снег. Медленно двигался по сторонам черно-белый лес. Чистый воздух был сладким, как мороженое. А ноги подкашивались...

В кубрике было тихо: отбой уже сыграли. Леха лежал с открытыми глазами. Он увидел меня и отвернулся. Я достал из-под шинели миску с кашей, тронул тельняшку на его плече.

— Ешь.

Плечо дернулось.

— Ешь, тебе говорят! — приподнялся вдруг на своей кровати Воронов.

Леха сел.

— Спасибо...

И стал есть.

В миску капали слезы.

Я быстро сбросил робу, аккуратно сложил ее, забрался на свою койку и с головой укрылся одеялом, чтобы не слышать, как скребет Лехина ложка.

...И почти тут же услышал:

— Подъем!

...Высоко над нами начинают тревожиться сосны.

— Шаго-ом марш!

Ночь еще не ушла, да и не уйдет — завязла в лесу.

В темноте над дорогой эхом мечутся песни. Где-то впереди — рота боцманов:

...Врагу не сдается наш гордый «Варяг»...

А за нами идут рулевые:

...под Кронштадтом

С комсомольцем, бравым моряком...

Мы запеваем тоже. Слова этой песни — на мотив «Дальневосточной» — сочинил политрук Бодров.

Мы сами строим нашу школу юнгов

И видим радость в собственном труде.

Пойдем навстречу штормам, бурям, выюгам

За нашу жизнь, что создана в борьбе.

Закончили петь. Шагаем молча.

Со стороны озера из кустов выходят на дорогу двое. Они в тулупах, валенках и, что самое странное, с удочками.

— Милеша Пестахов! — узнает кто-то.

Воронов — он идет рядом, у края дороги — здоровается с ними. Они говорят вполголоса, но можно услышать: «Подолжком... улов. Недолго...»

— Рыбку ловят! — вдруг зло выговаривает Леха. И всхлипывает.

Сдержанно стонут перебинтованные снегом сосны.

А запевала начинает новую И рота — кому какое дело, что творится вокруг! — рявкает:

Сонце лье-о-ца,
Серце бье-о-ца,
И привольно дышит грудь!..

...После завтрака роты одна за другой выходят к учебному корпусу. Здесь еще два двухэтажных здания: штаб и дом, где живут командиры с семьями. На крыльце его стоит новый начальник школы капитан первого ранга Авраамов. Свет из окон косо ложится на золотые погоны. Говорят, Авраамов командовал еще первым русским миноносцем «Новик»...

— Здравствуйте, товарищи юнги!

— Здравсь-товариш-капитан-пер-ранга!

В крайнем окне второго этажа, откинув занавеску, на минутку появляется дочь капитана первого ранга — Наташа.

Все смотрят на нее.

Леха тоже всегда смотрел. А сейчас... Я чуть поворачиваю голову и вижу, как вздрагивает от крепкого строевого шага его лицо — с закрытыми глазами...

Х

До приезда Авраамова никто из нас не видел человека в погонах. Никто, кроме старшины Воронова. А мы... разве что в кино.

Когда капитан первого ранга Авраамов был назначен начальником школы, на Большой земле уже ввели новую форму. И он приехал к нам в погонах.

Юрка, увидев его, восхитился:

— Сила!.. — Тремя энергичными жестами он изобразил горбатый нос, бакенбарды и погоны. — Во, во, во!..

Через месяц вместе с ленточками и флотскими ремнями мы тоже получили погоны и погончики. Погоны на шинели — черные, с буквой «Ю», а погончики — квадратные, с той же буквой «Ю» — на робы и на фланелевки. Вечером, после занятий, пришивали...

У Воронова они были с тремя золотистыми лычками и буквами «СФ» — «Северный флот». Он спрятал их в рундучок около кровати и достал начатое накануне письмо.

Юрка сказал:

— А говорят, у Авраамова еще старые погоны капитана первого ранга! Всю жизнь на флоте...

— Правда, товариш старшина? — спросил Сахаров. — Он и до революции был кап-один?

— Отставить разговоры! — буркнул Воронов.

С письмом у него, наверное, не ладилось. Старшина отложил его, пощупал подбородок. Бриться рано.

Присел около печки.

Что же он погоны не пришивает?

Мы пододвинулись, притихли.

— Расскажите что-нибудь.

Воронов молчал.

— Расскажите, — попросил Сахаров.

Леха стоял в стороне, около своей койки. Он положил на нее локти и смотрел в окно. А что там увидишь? Темнота...

— Чудинов! Комсорг! — позвал старшина. — Как у Василевского с тройкой?

«Будто сам не знает», — подумал я.

— Исправил, товарищ старшина, — ответил Леха.

Он обернулся, подумал и тоже подошел к печке.

Старшина знал тысячу разных историй. Он рассказывал их почти каждый вечер. Если, конечно, в это время не объявляли учебную тревогу. Или если смена не находилась в наряде. И если никто из нас утром не затратил на подъем больше минут, а днем, на занятиях, не схватил двойку.

— Это, — начал Воронов, — еще в гражданскую войну было...

XI

Нет лыжни — замело! И куда ни пойдешь, всюду одно и то же: темнота, снег и гулкие стволы сосен.

Леха остановился, снял лыжу и начал очищать ее.

— Надо влево! — сказал Юрка.

— Может, попробуем прямо? — спросил я.

— Что вы, братцы! — удивился Вадик Василевский.

— А куда же?

— Ладно, — сказал Леха. — Короче. Вы мне доверяете?

Над нами тоненько, злорадно свистел ветер.

— А что ты предлагаешь? — спросил Юрка.

Вадик шмыгнул носом.

— Василий Петрович волнуется...

Старшина, конечно, волнуется. Это хуже всего, что мы подводим Воронова.

Леха проверил крепления на обеих лыжах. Выпрямился.

— Тогда пошли!

И решительно повернули вправо.

...Воронов, отпуская нас, предупредил, чтоб вернулись засветло. Был выходной и как раз то время дня, когда темнота часа на два редела: небо становилось сизым, и в сплошной стене леса по обе стороны дороги проступали отдельные деревья.

Сначала мы бежали вдоль этой стены, потом свернули.

Теперь я знаю, что такое тишина. Это снег на деревьях. Это еловые лапы под снегом. И зыбкие ветви сосен в снегу... Иногда тишина треснет веткой. Иногда сыплется тоненькой струйкой снега. Тишина — это лес в глубоком-глубоком снегу. Настороженный лес, ожидающий ветра.

И громадная заснеженная впадина озера, неожиданно открывшаяся нам далеко внизу и впереди.

Тут мы не выдержали. Тишина была нарушена. Вадик восторженно охнул и ринулся вниз. Юрка сдернул варежки, сунул обе палки под мышку и, заложив два пальца в рот, уже съезжая, засвистел как Соловей-разбойник. А Леха улыбнулся и сразу нахмурился.

— Сейчас Вадик навернется! — сказал он.

Точно! Вадик на половине спуска зарылся в снег.

— Вот как нужно, — сказал Леха, отталкиваясь палками.

Я успел подумать, что хорошо сделал старшина, отправив его вместе с нами. А потом уже просто ни о чем не мог думать — такой это был полет! Ух, как жалко стало, когда он кончился!.. Не сговариваясь, молча, пыхтя, мы стали подниматься на высокий берег озера. И снова кинулись вниз. Потом все повторилось еще и еще раз...

Прошло совсем немного времени, а над озером проступили звезды. Их сразу заволокло. Поднялся ветер.

Теперь я шел за Лехой, за мной — Юрка, а на шкентеле, как всегда, шел Вадик.

— Фу ты черт! — сказал он вдруг.

Леха остановился.

— Что такое?

— В шинели, наверно, запутался! — объяснил Юрка.

— Нет, а что? — подошел Вадик. — Мы, по-моему, здесь уже были...

— Короче, — сказал Леха. — У тебя все в порядке? Пошли.

Были мы здесь или нет? А кто его знает! Я теперь ни за что бы не определил, куда нам нужно идти. Один только Леха, может быть, догадывался.

Вадику явно хотелось поговорить. Он объявил, что у него вся тельняшка промокла.

— Тельняшка — это еще не позор, — усмехнулся Юрка.

Леха молчал.

Он молчал до тех пор, пока мы не вышли на дорогу. Тут наш комсорг вздохнул:

— Ну вот... Вы хоть почуяли, как снегом-то пахнет? Теперь — бегом!

Хуже всего, конечно, было, что мы подвели нашего старшину, нашего Василия Петровича Воронова. Он нам доверил, а мы...

Старшина сидел на скамье, опустив голову, — один во всем кубрике!

Чадила его самокрутка.

Он поднял голову.

Мы, не решаясь пройти, стояли у дверей. Все-таки никто из нас не думал, что получится так плохо. Но не объяснишь, не оправдаешься — да и не станем мы этого делать! Надо было вернуться вовремя, а не плутать.

— Товарищ старшина, — начал Леха.

— Разговоры!.. — перебил его Воронов.

И опять молчание.

Вадик не выдержал.

— Нет, а где все? Нас ищут?

— Разговоры!.. — рявкнул Воронов.

Мы прикусили языки. И вдруг услышали:

— Становись! Напра-во! Из кубрика — шагом марш!

— Погорели!.. — прошептал Вадик.

— В штаб! — вдогонку нам крикнул Воронов.

Мы шагали в штаб гуськом — «в колонну по одному»: Леха, я, Юрка и, как всегда на шкентеле, Вадик.

— Не может быть, чтобы он доложил начальству, — сказал я.

Юрка оглянулся.

— Догоняет!

— Сейчас повернет, — предположил Вадик.

— Строевым! — крикнул Воронов.

Мы стали чеканить строевой шаг.

Да, он привел нас в штаб. Неподалеку от подъезда, за палисадником, ребята из нашей смены — человек десять — пилили и кололи дрова. Остальные топили печи в коридоре второго этажа.

— Будут топить вот эти, — сказал старшина, мельком взглянув на нас. — Остальным построиться — и в кубрик. Отдыхать. Ясно?

Мы обрадованно кивнули: «Есть!»

— Поработайте ночью, — сказал Воронов. — Штрафники!

Сахаров подошел ко мне и сказал:

— За такие штучки вам бы по десять суток!

— Ладно, иди ты!..

Я так был рад, что все обошлось, — наплевать мне, почувствовал, на этого Сахарова!

Печи здесь были необыкновенные. Такие, наверно, есть только на Соловках. Если бы Вадик Василевский посадил себе на плечи еще одного Вадика, они могли бы войти в любую топку, не пригибаясь. Туда, в эти горящие топки, надо было швырять целиком метровые поленья, чтобы поддерживать настоящий огонь. Пальба там стояла оглушительная.

Печи топили раз в неделю, но зато всю ночь. И семь дней после этого в кабинетах было тепло, даже очень тепло.

Огонь полыхал в десяти топках сразу. Первым делом мы сняли шинели. Потом — робы. И, наконец, стянули тельняшки.

— Правильный у нас старшина! — сказал Юрка, улыбаясь и вытирая потный лоб. — Он ушел?

Леха кивнул.

— Я уже думал: нас ищут, — уставясь в огонь, вздохнул Вадик.

Шуруя в очередной топке, я взглянул на дверь рядом и узнал ее — кабинет начальника школы. Сто лет назад я приходил сюда, не меньше!

Дверь почему-то приоткрыта. Заглянуть? Я шагнул — и замер. Видна была спина Воронова. И слышно два голоса. Хрипловатый, напряженный — старшины и сухой, строгий, старческий — капитана первого ранга Авраамова.

— Вам, может быть, и просто, — сказал Воронов. — Достали старые погоны — и все! А у меня золотопогонники отца с матерью расстреляли! Не могу я их пришить, как большевик вам говорю.

— А я — не как большевик? — спросил Авраамов. — Для советской власти, во славу рабоче-крестьянского Красного фло-

та, я обучил тридцать тысяч моряков Командиров! Офицеров! Так-то, Василий Петрович...

...Не знаю, как мне удалось выскользнуть. Старшина ушел, не взглянув на нас. Потом вышел Авраамов. Мы, полуголые, встали по стойке «смирно».

— Вольно, — рассеянно козырнул Авраамов.

И тоже ушел. Деревянные ступени лестницы скрипели под ним.

Юрка почесал переносицу.

— Все хочу у тебя, Леха, спросить. Как ты сегодня определил, что надо вправо? А? Ведь заблудились...

Только теперь один из нас произнес это слово.

— Правая нога сильнее, — сказал Леха. — И человек в лесу всегда заметно берет влево. Это мне отец говорил.

Он смотрел в топку, на огонь, упрямо наклонив лобастую голову. Лицо покраснелось от жара.

Леха повзрослел — сейчас мы увидели это. Губы у него стали жестче. И глаза.

Мы молчали.

Но я знал: нам очень хочется, чтобы он стал, как раньше, рассказывать об отце. Будто с этим рассказом должно было утвердиться что-то важное — такое, без чего жить труднее.

— Мы с ним тоже один раз поплутали... — сказал Леха, глядя в огонь. — Компас испортился. Потом-то отец признался, что нарочно так сделал. Ориентироваться учил... — Он вздохнул. — А я даже не знаю, в новой форме он погиб или нет...

Мы еще долго молчали. Но молчание уже не было напряженным.

Леха сказал:

— Главное, что старшина в нас верил. Знал, что придем.

— Правильный он человек, — повторил Юрка. — А переживал!.. Как в кубрике-то сидел!

«Не только из-за нас он переживал, — подумал я, вспомнив о подслушанном разговоре. — И какая у него жизнь!.. У него и у капитана первого ранга».

...В полночь Воронов неожиданно прислал нам смену — десять человек. Мы оделись и вышли из штаба.

Темень гудела всюду.

Я посмотрел на окна соседнего дома. Света не было. Спала Наташа Авраимова, шестнадцатилетняя дочь начальника школы юнг. Спал капитан первого ранга.

А в кубрике спал наш старшина, бывший матрос революционного крейсера «Аврора». У двери висела его шинель. Погоны были пришиты.

XII

«Тьфу, опять в палец!» Я выдавил капельку крови и слизнул ее.

— Колется? — засмеялся Юрка.

Мы сидели без тельняшек — в кубрике было тепло — и шили небольшие, величиной с ладонь, чехлы.

— А, черт! — сморщился Юрка.

— Хорошо смеется последний, — сказал я. — А у меня готово.

— Покажите-ка, — подошел Воронов. — Вы что, махорку в нем будете носить? Распороть. И зашить снова — аккуратно.

— Гы!.. — Юрка торжествовал.

...Если кому-нибудь из нас в действующем флоте вручат, допустим, медаль, может быть, даже орден, каждый ответит: «Служу Советскому Союзу!» Так положено.

Но сегодня, когда заместитель Авраамова капитан третьего ранга Шахов пожал мне руку и сказал: «Поздравляю», — я ответил так же:

— Служу Советскому Союзу!

На комсомольском билете — тоже два ордена. А пониже вписаны моя фамилия, имя и отчество... И проставлена дата выдачи: 23 февраля 1943 года. И обозначено место: Северный флот.

Моряки носят комсомольские и партийные билеты на груди, у сердца, в небольших чехлах, которые прикрепляют к тельняшкам. Это, наверное, самая молодая флотская традиция.

— Получилось, — кивнул Воронов.

Мы густо намазали ботинки тавотом. Затянули шинели флотскими ремнями с ярко надраенными бляхами. Пожалели, что нельзя надеть бескозырки. Они лежали на полке, золотились буквами ленточек.

— Становись! — скомандовал старшина.

Он прошел вдоль строя, внимательно оглядел каждого и приказал достать носовые платки. Когда Юрка развернул свой, на сгибе явственно обозначилась серенькая полоска. Воронов задумчиво смотрел на нее. Юрка медленно краснел.

— В следующий раз — не пушу, — сказал старшина. — Ясно?

...Мороз раскалил звезды до блеска. Освещенное ими небо светлело над черным лесом. По пути нам несколько раз встретились небольшие группы юнг с винтовками — усиленные караулы расходились по своим постам. В воинских частях в дни праздников всегда усиленные караулы.

В большом зале клуба, над сотней стриженных затылков, на ярко освещенной сцене Вадик Василевский читал свои стихи. Он энергично размахивал руками. И в первые минуты я удивился его смелости, а потом — стихам. Они были настоящие — о юнгах, о нашей школе, о том, что завтра мы тоже уйдем в море. Бить врага.

После Вадика хор исполнял флотские песни. Потом доски сцены загудели. В зале на скамейках стали подниматься, вытягивать головы — «Яблочко!» Потом играл струнный оркестр, выступали акробаты, даже один фокусник. И все артисты были юнгами.

А юнги в зале смотрели на них, отчаянно хлопали в ладоши и удивлялись: «Ай да мы, юнги!..»

— Авраамов здесь, — сказал Леха.

— И дочка? — спросил Сахаров.

Я посмотрел: а он красивый, Сахаров. Брови такие красивые, тонкий нос... Он может понравиться Наташе. А как ей объяснить, что вот Юрка с его оспинками и крепким подбородком

только кажется некрасивым, что на самом деле у него удивительно симпатичная физиономия?

Концерт кончился. Скамейки перенесли к стенам. Снова заиграл струнный оркестр, и юнги стали танцевать — друг с другом.

— Моряки, — раздался вдруг строгий голос, — это же вальс!

Авраамов стоял у края сцены.

Зал притих, замер.

— Это вальс! — повторил капитан первого ранга. — Моряки должны уметь танцевать вальс.

Он легко спрыгнул со сцены. Юнги глухо зашумели, раздались в стороны.

— Наташа! — позвал Авраамов.

И стало тихо. А в тишине все услышали, как стучат ее каблучки.

Мы стояли у стен, а она шла к отцу через весь зал, и этот вдруг опустевший зал казался мне огромным.

Капитан первого ранга шагнул ей навстречу, щелкнул каблуками, чуть склонил седую голову.

Наташа улыбнулась. Я видел, как она улыбнулась, — ласково и радостно, как откинула за спину косы и положила руку на его плечо.

Тогда Авраамов чуть повернул голову к оркестру и сказал:

— Вальс!

...За разбор идейного содержания рассказа Толстого «После бала» мне недавно поставили пятерку. Я смотрел, как танцует с дочерью капитан первого ранга — человек, который начал службу еще в те времена, но во славу рабоче-крестьянского Красного флота воспитал тридцать тысяч моряков, — смотрел, и мне было жарко и радостно.

Звучала музыка, плавно летел кортик.

...А война шла второй год.

Я видел себя танцующим вальс после войны.

Непременно научусь танцевать вальс! На плечах у меня будут погоны — пусть не капитана первого ранга, это не важно. А на груди — ордена. И кортик будет так же лететь, как у Авраамова. И девушка поднимет на меня сияющие глаза, когда я скажу ей: «Вы меня не знаете, а я помню, как вы танцевали с вашим отцом. Это было на Соловках, в канун сорок третьего года»...

Авраамов щелкнул каблуками и поцеловал руку даме.

Ох, как мы хлопали!..

А капитан первого ранга, улыбаясь, притрагивался к разгоряченному лбу ослепительно белым платком.

XIII

«Я на горку шла», «Дай, дай закурить!» — до чего же все это было просто! И морзянку изучить, как положено радистам, на слух, — разве это трудно? Мы уже принимали по восемьдесят знаков в минуту, но — в классах, в тихих классах, когда

работал зуммер. А теперь надели наушники, услышали эфир и поняли, что ничему еще не научились.

Я медленно поворачивал ручку приемника: клекот, писк, россыпь морзянки — станций столько, сколько звезд в небе, и все работают одновременно. Ну разве тут что-нибудь поймешь?!

Покосился на ребят: они сидели за своими приемниками, и лица у них были растерянные. Даже у Сахарова. Еще бы! В уши врывается целый мир. Новый, незнакомый мир.

Мне казалось, что я слышу, как тяжело, бессонно кружится земной шар. Я невольно посмотрел в окно, словно мог увидеть, как он кружится. Но за окном была видна тяжелая, сложенная из громадных валунов стена Соловецкого монастыря.

Вот уже третий день мы жили в двенадцати километрах от своих кубриков, рядом с этим монастырем, в котором теперь размещался учебный отряд Северного флота. Наша рота на две недели поселилась в местной школе связи.

Милеша Пестахов объясняли:

— Будем изучать совершенную аппаратуру.

— А также стоять на учебных радиовахтах — привыкать к эфиру.

Неужели можно привыкнуть к этому хаосу и разбираться в нем так, чтобы среди тысяч голосов найти один, который зовет тебя?! Да еще найти вовремя и принять весь текст без ошибок!

Можно. Вот ведь сколько их работает — радистов!

Я опять взглянул в окно. Здесь, в учебном отряде, жили еще две роты из нашей школы — торпедистов и артэлектриков. Надо бы повидаться с Валькой Зайцем. Я не видел его с тех пор...

— Внимание! — громко сказал Астахов. — Еще раз напоминаю: найдите какую-нибудь одну радиостанцию и принимайте ее передачи. Учитесь настраиваться.

Я медленно поворачивал верньер: одну так одну! Надо только, чтоб хорошо было слышно.

И вдруг чей-то далекий голос произнес: «...Чайка-три, я — Чайка-три». Треск, разряды... «таранили подлодку...» Опять треск! Дрожа от нетерпения, я чуть-чуть повернул ручку настройки и неожиданно ясно услышал торопливый, срывающийся голос: «Потерял ход, командир убит, в живых комендор, пулеметчик и я... Расстреливают прямой наводкой. Погибаю, но не сдаюсь. Прощайте, братцы!»

— Товарищ старшина! — Я вскочил, сорвал с головы горячие, потные наушники, снова схватился за них. — Товарищ старшина! Наши... открытым текстом. Гибнут...

Как во сне, видел я ребят, сгрудившихся около моего приемника.

— Какая волна? Какая волна? — спрашивал Леха.

Он говорил о радиоволне, а я видел другую, темную, всю из холода, — и в ней тонула бескозырка.

Астахов стоял, подключив к моему приемнику вторые наушники, — лицо неподвижное, глаза тяжело прикрыты помертвевшими веками.

«...не сдаюсь! Прощайте, братцы, прощайте!»

И тишина. И атмосферные разряды, как последние взрывы. Астахов положил наушники на стол.

Раздался звонок — конец занятий.

— Откуда же, где они? — спросил Юрка.

— На Баренцевом, — тихо отозвался Астахов. — Наверное, там. Хорошее прохождение... волн.

...В тот вечер я долго искал Вальку. Пришел в роту артиллеристов, заглянул в один кубрик, в другой.

— Ребята, где тут Заяц?

— Какой заяц? Серенький?

— Валька Заяц, мой приятель по «гражданке»...

— Спроси в следующем кубрике — у нас только волки: целых два Волковых!

В соседнем кубрике я наткнулся на старшину роты.

Был он низенький, толстый, рыжеусый. Смотрел придирчиво.

— Я из роты радистов. Пришел сюда к другу, к юнге Зайцу. Он, случайно, сегодня не в наряде?

— Заяц? — спросил старшина. — Это какой Заяц?

Все они тут, кажется, были шутниками на один манер.

— Юнга Заяц...

— Ах, Заяц! Это тот сопливый, что ли? Нос у него красный.

— Ну... — Я растерялся. — Было. Шмыгал...

— Да. Вот так, шмыгал! Зайца тут давно уж нет, товарищ юнга! Его еще Иванов отпустил. Вот так.

— Иванов? Отпустил?

— Да... Обойдемся и без сопливых, которые рапорты пишут. А?

Я молчал.

— Дрянь у тебя был дружок! — сочувственно заключил рыжий старшина. — Вот так.

XIV

Сахаров скривил губы и стал складывать газету: вдвое, вчетверо, еще раз, — я слышал, как скребет по бумаге его ноготь.

— Ты заметку про Милешу Пестахова написал? Писатель!..

Круглые глаза смотрели на меня с почти нескрываемой завистью. Что он ко мне так?

— «Для нас», — начал он громко, раскрывая газету. — «Для нас главстаршины Астахов и Пестов — образец морской подтянутости и аккуратности... Замечательные специалисты. Мы понимаем, что чем скорее освоим их опыт, овладеем специальностью радиста, тем больше будет вклад наших инструкторов в дело разгрома врага!..» Писатель!..

Я меньше всего думал о литературной славе, когда писал эту заметку.

С месяц назад, во время занятий, Воронов вызвал меня из класса. В коридоре придирчиво осмотрел:

«Значит, пойдешь сейчас в двадцатый кабинет. Там капитан из газеты прибыл. Будет с тобой беседовать. Сначала постучи.

Скажет: «Войдите», — три шага строевым и доложи, как положено».

«Ясно, товарищ старшина».

«Ясно, ясно! Ты слушай, что говорю! Доложи четко: «Товарищ капитан!» Василий Петрович заметно волновался: приехал первый человек с Большой земли, чтобы встретиться с нами, юнгами...

Капитан из газеты, в новеньком кителе, в новеньких погонах с ярко-красными просветами, розовощекий, темноволосый, курил прямую длинную трубку и смотрел на меня так, будто все время чему-то радостно удивлялся. Это он попросил меня написать про Милешу Пестахова — там же, в двадцатом кабинете. А сам ушел, чтобы не мешать. Потом вернулся, прочитал и стал ходить по кабинету, потирая руки: «Очень хорошо, очень!...»

Воронов ждал в коридоре:

«Ну как?»

«Все в порядке, товарищ старшина!»

«Молодец!...»

— Молодец! Умеешь... — Сахаров бросил газету на стол.

«Краснофлотец». Газета Северного флота.

Буквы запрыгали, зарыбились, в висках томительно зазвенело. Краснофлотец, парень с Северного флота — такой же, как Астахов, — вел передачу открытым текстом. Последнюю... «Погибаю, но не сдаюсь!»

Астахов стоял рядом с нами в учебном классе. Лицо у него было помертвевшее. Потом он объяснил, что прохождение радиоволн хорошее. Он и в ту минуту объяснял, учил нас!

Нет, я не просто так написал заметку...

— Тут и дурак сумеет пятерочки отхватывать! — съехидничал Сахаров, отвернулся.

Я шагнул к нему. Я еще не знал, что скажу, что сделаю. Но знал, что он замолчит. А если нет — плевать мне тогда на самого себя! Тогда пусть он еще раз смажет меня пятерней по губам — будет прав.

— Одни воюют, другие рыбу ловят! — Он только делал вид, что не замечает меня. — И про них еще пишут всякие...

— Сахаров!..

— Сахаров! — одновременно со мной сказал Леха. — Ты не имеешь права говорить так о своих командирах!

— Не от тебя ли слышал? — бросил, не оборачиваясь, Сахаров.

— Н-ну и что? Од-дин раз сказал, да!

Леха заикался, весь красный.

— Ты мне и за это ответишь, — сказал я тихо. — Выйдем, Сахаров. Там поговорим..

— Ах, выйдем!.. — протянул он, издеваясь. — В коридор или подальше?

— Можно и подальше. Самоподготовка все равно кончается.

— Ах, подальше! Ах, самоподготовка! — пел он тоненько и, подпрыгивая полусогнутой ногой, следил, как я застегиваю шинель на все крючки.

— Давайте объяснимся! — потребовал Леха.

— Ладно, — сказал я. — Объяснимся после.

Как будто можно было объяснить, что шел я не просто драться, а хоронить того, в шинели без хлястика, который когда-то в кабинете начальника школы поверил, что его отпускают домой, и не отказался писать рапорт. Как будто можно было объяснить, что многое с тех пор изменилось и что некоторые, пусть даже простые, истины понял я сам. А если ты додумался до чего-то сам — это твои убеждения. И надо уметь их защищать.

Сахаров набросил шинель на плечи.

— Ну, берегись...

Я вышел первым. Он шагал за мной. Лестница, первый этаж, выход — на площади было уже темно. Мы обогнули учебный корпус, через какой-то кустарник вышли на небольшую поляну.

Дул влажный ветер. Неподалеку шумели сосны.

— Вот здесь, — сказал я, расстегивая крючки.

И лицом — в снег! Только крикнул от боли, когда Сахаров нивалился сзади мне на руки: он налетел на меня, не дожидаясь, пока я сниму шинель!

Я рванулся, но теперь оказался на спине, а он удержался сверху, ударил:

— Что?!

Из глаз посыпались искры. Еще, еще раз...

— Что? Что? Что!..

Только бы высвободить руки! Вот сейчас...

Сахаров вдруг откинулся.

Я почувствовал, что свободен, вскочил.

Он стоял в нескольких шагах от меня, отряхивая с коленей снег.

— Что? Получил?..

А между нами — им и мной — стоял Юрка Железнов.

Я сбросил, наконец, шинель. Молча шагнул вперед.

Юрка тоже молчал.

А Сахаров все чистил брюки на коленях. Потом выпрямился.

— Ну, что?

Не очень уверенно спросил.

Юрка положил мне на плечо руку.

— С такими разве дерутся?

— Да ведь он...

— Таких бьют, — сказал Юрка. — По щекам!

— Ну, ударь, ударь! — крикнул Сахаров. — Ударь!

Железнов молчал.

Я высвободил плечо.

— Двое на одного, да? — отступил Сахаров.

Юрка сплюнул.

А Сахаров повернулся и пошел — не к учебному корпусу, а куда-то к лесу.

После физзарядки у проруби всегда очередь. Толкаемся, потираем друг друга. Скоро построение...

Переговариваемся.

— Светает?

— Нет, от снега так кажется.

— Вообще-то раньше светать стало, а?

— Эй, поживее там — не в бане!

Подошла моя очередь. Я нагнулся, зачерпнул ладонями холодной черной воды, но кто-то двинул меня плечом.

— Ну-ка!

Не успел даже понять, кто это: на него откуда-то налетел Сахаров, швырнул в сторону и встал рядом со мной, широко расставив ноги.

— Умывайся спокойно...

— Псих, — ошеломленно проговорили за спиной Сахарова.

Он не обратил внимания.

Юрка стоял за мной и улыбался. Я видел: когда он улыбается — в любой темноте видно.

Молчаливый снег лежал на озере, молчаливо стоял над ним лес. Воздух был холоден, но и в нем, и в запахе снега, и в самой темноте, чуть смазанной рассветом, было что-то новое, завтрашнее.

Как будто весной капнуло...

XV

Вот она, весна!

На причале пахнет водорослями, смоленой пенькой, мокрым деревом и краской. Каждый запах держится крепко, но все они — одно, как жгуты волокон в канате.

Мы раздуваем ноздри.

— Аромат! — говорит Леха. — Настоящий морской...

Мичман Кашин вытягивает из кителя карманные часы и задумчиво обещает:

— Мозоли набьете... — Крышка часов откидывается. —

...Вот тогда и почувствуете... — Крышка щелкает. — ...Настоящий-то морской аромат.

— А я уже набил! — гордо заявляет Вадик.

— Ох! — говорит мичман. — Ох, баковый! Горе мне с таким баковым...

У причала, под шляпками, покачивается светлая толща воды. Холодок ее смешивается с теплом прогретого на солнце дерева. Вода облизывает свежую краску на бортах. Вкусную масляную краску.

Шляпки мы красили сами.

— Уясните, — говорит мичман. — Настоящей гребли у нас не было. Пока. Она будет сегодня. Сорок гребков в минуту. Да, сорок... Что, баковый?

— Все в порядке! — Вадик пожимает плечами.

— Ох, баковый! — вздыхает мичман. — Ох!.. Лопасть весла опускайте в воду на три четверти. И разворачивайте валец. Понятно?

У мичмана крупное лицо, широченные плечи и веснушчатые, волосатые руки. А китель на животе заметно выпирает. Говорит Кашин неторопливо, благодушно щуря светлые глаза, — но только до тех пор, пока не приходит время давать команду. Тут он рывкает так, что мы вздрагиваем.

— Весла разобраты!

Шлюпку уже немного отнесло. Я кладу ладонь на ласковый, теплый от солнца валеk и вижу, как на сваях причала пляшут отражения воды — зыбкие солнечные медузы. А за причалом песчаная коса, валуны, и чуть подалее — лес.

Мичман сидит на корме. Китель тщательно застегнут, фуражка на два пальца над правой бровью. А бровь — рыжая. Правая рука мичмана лежит на румпеле, в левой — часы с открытой крышкой.

Я вижу его хорошо, потому что сижу напротив, на месте левого загребного. Правый загребной — Юрка. Мы переговариваемся: «Помнишь?» По загребным равняются остальные гребцы. Они разбирают весла за нашими спинами. На баке приготовился Вадик Василевский со своим напарником. У них самые легкие весла.

За нашими спинами — море.

Мы в одних тельняшках, а с моря веет майский холодноватый ветер. Зябко.

Скоро разогреемся...

— Весла — на воду! — рывкает мичман. — Два-а... — Он выпрямляется, вбирает живот.

Но я не вижу его больше, потому что, занося лопасть весла, веду валеk вперед и складываюсь, почти доставая подбородком до колен.

— Р-раз! — Всем своим грузным телом мичман подается вперед.

Ладонями на вальке чувствую, как вода за бортом туго бьет в лопасть весла. Пятки все сильнее упираю в перекладину на рыбине, а в конце этого «р-раз!», откинувшись назад, я почти лежу на банке, и валеk — у меня на груди.

Вот как плещется за бортом — ходко пошли! Второй гребок. И еще... И еще...

Сначала я их считаю, потом сбиваюсь. Надо было бы и тельняшки снять.

— Баковый! — гремит мичман.

Справа, кажется, весла пошли вразброд. Жаль, что некогда оглядеться. Далеко мы ушли или нет?

— Два-а... раз!

Сколько гребков? Сорок?

— Двадцать восемь! — слышу я голос мичмана. — Двадцать восемь в минуту — плохо!

Это все из-за Вадика. Я успеваю подмигнуть Юрке: «Поднажмем?»

Скрипят уключины. Жарко. Голос мичмана куда-то отодвинулся.

— Два-а... раз!

Наверное, мы далеко все-таки ушли.

— Сорок! Суши весла! — командует мичман.

Сразу становится слышно, как за бортом позванивает вода. Все тише и тише — шлюпка теряет ход. По лицу сползают капли пота.

Неужели была зима — светлое от мороза небо над черным лесом, снег?

Была.

Шла наша рота по дороге — в темноте и снегу. Шла месяц,

второй, третий... Небо над дорогой становилось все светлее. Потом из-за леса встало солнце. И мы увидели, как тяжел и влажен снег под еловыми лапами. Как глубоко пробила его капель.

А рота все шла...

Снег растаял. Мы сняли шинели. По-весеннему шумели сосны, а небо над дорогой светлое почти круглые сутки.

И лес расступился.

...Я оглядываюсь: берег далеко-далеко — видны горошины валунов и оранжевые свечечки сосен. А все остальное — только море. Светло-зеленое у берега, сверкающее солнцем вдали и темное над нашей шлюпкой.

Открытое море, облака и солнце.

Жарко! Я стираю ладонью пот со лба.

Падают капли с лопастей весел.

— Теперь понятно, — спрашивает мичман, — почему море соленое? — И хохочет. Долго, раскатисто — так, что в небе отдается.

— Ишь ты! — удивляется мичман и задирает голову. — Гром!..

— «Люблю грозу в начале мая!»

— Ох, баковый! — еще больше удивляется мичман. На минуту он задумывается, потом вдруг приказывает: — Всем надеть нагрудные пояса!

Мы с Юркой помогаем друг другу завязать тесемки.

— Весла — на воду!

...Грести становится труднее. Мичман наваливается на румпель, подставляя ветру корму шлюпки. Теперь дело пойдет.

Разгибаясь, я успеваю заметить, что море исчезает. Оно исчезает за гигантскими дымными шторами дождя.

И он обрушивается на нас. Это какая-то бешеная пляска воды. Вода сверху, вода снизу...

— Навалисы!

На темно-сизой поверхности — белые яростные пузыри дождя.

— Два-а... раз!

У мичмана с козырька фуражки льет, как из водостока.

— Два-а... раз!

Больше я ничего не вижу — вода, не могу разлепить глаза. А комсомольские билеты — под пробковыми поясами. Не промокнут!

— Р-раз!

Валек бьет меня в грудь, и я чуть не сваливаюсь с банки. Что такое?

— Лопасть! — кричат сзади. — Лопасть сломал!

У меня падает сердце: натворил... Может, она была треснутая?

— Навалисы! — почему-то торжествующе кричит мичман.

А гроза прекращается так же сразу, как налетела. Снова бьет солнце. От наших пробковых поясов, от воды, от красной физиономии Кашина идет пар.

— Фамилия? — Мичман смотрит на меня.

— Савенков.

А что я — виноват?

...Мы выстраиваемся на причале.

— Юнга Савенков, выйти из строя!

Выхожу.

— Юнге Савенкову за отличную морскую службу объявляю благодарность!

Я молчу.

— Ну?!

— Служу Советскому Союзу!

— Вот так. — Мичман доволен. — А это сохраните. — Он протягивает мне кусочек лопасти. — Такое не часто бывает. Р-разойдись!

Строй вздрагивает, ломается. Кашина обступают. Он тычет Сахарова в грудь:

— Сломай мне валец — я тебе три наряда вкачу! Понятно? А если лопасть, тогда — благодарность. Хорошо, значит, греб: и сильно и умело. Понятно?

— Может, она была треснута? — спрашивает Сахаров.

Вот тип!

— А может, вы думаете, я состояния шлюпки не знаю? — Мичман вытягивает из кармана часы. — Перекур! Пять минут, как раз к обеду вернемся. — И шелкает крышкой.

— Ничего себе! — говорит Леха. — Уже обед!

Кашин раскладывает на валуне китель и поясняет:

— Земля-то вертится!

А по-моему, она качается. Колени дрожат. Я опускаюсь на песок и вижу, как ребята один за другим валятся рядом, блаженно распрямляя горящие ладони.

Дымное, сверкающее, огромное качается перед нами море.

И только Юрка стоит. Смотрит на море. Совсем не исподлобья. И складки у него на переносице нет...

XVI

— Не служба, а малина! — сказал я.

— Черника, — серьезно поправил Вадик.

Мы сидели у костра и варили в миске варенье из черники. Мы были «дневальными у шлюпок». На Горелом озере... Бывают и такие наряды!

Чернику я собрал на небольшом островке. Вот он, его отсюда видно. Сходил туда на шлюпке — и все.

— Нет, а сахару маловато, — сказал Вадик.

— Съедем и так...

Вадик подобрал ноги, положил на колени подбородок и лупо-глазо уставился в одну точку. Потом достал из кармана огрызок карандаша. Еще посидел. Стал что-то писать в тетрадке по радиотехнике.

«Сочиняет», — заскучал я. Если человек сочиняет, с ним не разговоришься...

Зато я первый услышал, как слева, где тропинка, зашелестели кусты, увидел мелькающее в листве платье и желтый сарафан.

Передо мной стояла яркая синеглазая женщина — жена одного из старших офицеров.

— Нельзя ли нам перебраться на остров, за черникой?

Она сделала испуганные глаза и улыбулась.

А чуть позади стояла Наташа.

— Можно! — сказал я, стараясь не задохнуться...

Оглянулся на Вадика. Он сочинял...

— Пожалуйста. Вот к этой шлюпке!

Они подходили. Я слышал. А посмотреть не смел.

— Я не упаду? — спросила жена офицера. — Будьте любезны, дайте мне руку! Спасибо... Ой!..

Наташа сошла сама. Дочь Авраамова! Так... Весла в уключинах, все в порядке. Я оглянулся еще раз. Вадик — сочинял!..

— Как быстро гребете! — щебетала яркая женщина. — Эго вы здесь научились?

— Здесь.

Наташа молчала.

Я очень хотел посмотреть на нее — и не мог. не решался. Хоть бы спросила о чем-нибудь! Ведь островок скоро — шлюпка идет быстро. Гребок. Еще гребок...

Я посмотрел. Навсегда, на всю жизнь запомню то, что увидел.

Ее серые глаза. Оказывается, они вовсе не голубые! Почему-то после того вальса я думал, что они голубые. И маленький розовый шрам на щеке. И ее пальцы, заплетающие косу. И еще — длинную, совсем свежую царапину у нее на ноге, ниже колена.

Островок надвигался. Теперь надо было лихо «ошвартоваться». Я оглянулся, прикинув расстояние до берега. Сделал последний рывок веслами. Встал на банку, разматывая пеньковый конец, вплетенный в рым на носу шлюпки. Предупредил:

— Может качнуть, держитесь!

И прыгнул.

— Ах!.. — вскрикнула яркая женщина.

Чудачка она! Чего ахать? Я подтягивал шлюпку.

— Вы за нами приедете?

— Обязательно. Когда?

— Ну-у, — женщина переглянулась с Наташей, — через часик?

— Да.

Вот и голос ее услышал.

— Добро! — сказал я.

Теперь можно было не грести, а просто опускать весла в воду и смотреть, как они уходят в лес. Смотреть на желтый сарафан Наташи, на ее косы...

И она оглянулась!

Жаль, что я не имею права объявлять благодарность старшине роты. Трех благодарностей ему мало за назначение в такой наряд! Я только не знал, что делать весь этот час. Как его переждать? Вернуться туда, где в траве валяется миска из-под черничного варенья, а Вадик сочиняет стихи, было невозможно.

Я стал кружить по озеру.

...Они вернулись с полными корзинками черники. Так аккуратно, ягодка к яголке, никто из ребят не собирал: у нас всегда оказывалось полно листьев.

Конечно, это было чудом, но все повторялось. Даже больше: я посмотрел на Наташу четыре раза. И три раза у нее дрожали ресницы, а на четвертый наши взгляды встретились.

А потом они ушли. Наташа, прощаясь, улыбнулась мне.

Если бы она пришла еще раз! Ну что ей стоит! Ведь свободный человек... Я бы рассказал ей, почему это озеро называют

Горелым. Оно огромное, извилистое, и по берегам его, говорят, однажды сильно горел лес.

Я бы рассказал ей, какой рассвет был сегодня на озере. Вон в той стороне редкие стволы сосен чернели на бледно-зеленом небе. А над водой еще мигали звезды.

Мне даже хотелось разбудить Вадика — он похрапывал в палатке.

— Правда, ведь обидно, что у человека именно в эти часы самый крепкий сон? — спросила Наташа, наклонясь над бортом и опуская в воду ладошку.

Она вернулась. И опять сидела на корме шлюпки. А я перестал грести, потому что увидел, как сползает ее коса, — вот-вот упадет в воду, — хотел подхватить ее.

В руке у меня хрустнула ветка. Я посмотрел на Вадика, вздохнул.

— Все сочиняешь?

— Угу.

— Я тоже. Мне такое пригрезилось... Будто перевозил я на шлюпке... Ладно, почитай, что там у тебя!

Вадик встал.

Мы первую любовь узнаем позже,
Чем первое ранение в бою!..

Он вдруг замолчал, поднял голову.

Прерывистый ноющий звук наполнил на остров.

— «Юнкерс»?

— Кажется. Ты его не видишь?

— Нет, — ответил Вадик.

Мы говорили спокойно, как будто о черничном варенье. Потому что обоим не верилось: такой день, такой покой — и вдруг «юнкерс»...

— Смотри-ка, — негромко сказал Вадик.

Но я и сам увидел: торопливые жирные клубы дыма поднимались над лесом за островом — на противоположном берегу озера.

— Лес горит! Зажигалки?

— Наверное. Вот что, Вадик. Я побегу в роту, я быстрее добегу, а ты здесь... Понял?

— Так точно, — сказал Вадик.

Когда, задыхаясь, я выскочил на дорогу, по ней уже бежали юнги. В тельняшках, с лопатами.

Вот и наши радисты.

— А Василевский где? — остановился Воронов.

— У шлюпок. Там безопасно. Горит на западном берегу, я видел.

— Безопасно! Видел! А ветер какой? Юго-западный, зюйд-вест, черт подери, соображать надо!.. Огонь туда и пойдет. Бегом на место!..

— Есть!

— Стой! — крикнул старшина. — Бери лопату у баталерки и давай вместе со всеми, а туда я других пошлю.

...Мы выбежали на поляну.

— Здесь копать! — приказал Воронов. — Цепью становись. Быстро!

Цепь пересекла поляну почти посередине. А метрах в пятидесяти от нас горел лес.

Земля поддавалась туго — пружинила. Сверху густая трава, снизу — галька. Я копал, видел мелькающую лопату, дерн, комья земли. Отшвыривая их, разгибался, поднимал голову...

Неподалеку, прямо передо мной, стояла сосна. Она стояла отдельно от леса, будто вышла на поляну показаться: «Вот я





какая!» Прямая, выстреленная к небу, как мачта. За нею все полыхало, чернело, падало...

Она стояла. А жара становилась невыносимой, воздух — таким горячим, что боязно было вдыхать его всей грудью. Я копал и косился: стоит моя сосна! Подумал, поверил: «Не загорится», — и тут же увидел, как ее снизу охватило кольцо пламени; оно кинулось вверх по стволу — все быстрее, стремительней, и вдруг жарко — вся разом — вспыхнула крона.

Я кричал что-то, задыхался, плакал — от дыма. И видел блестящую лопату, комья земли. И кольца пламени на сосновых стволах. И пороховые кроны.

Сосны погибали как живые.

— Пожар погасим — на трое суток посажу! — закричал на кого-то Воронов. — Черенок сломал! На кой черт ты здесь нужен без лопаты? Трое суток, ясно?

Мне не разглядеть было, кто там сломал черенок, а жаль: я бы ему тоже сказал пару слов. Копать не научился, сачок несчастный!.. А ветер — зюйд-вест, и огонь идет на школу. Не на лес — на нашу школу был налет! Огонь идет, чтобы сожрать наши кубрики, все, что мы построили. Огню надо дорогу пересечь, а какой-то обормот сломал лопату!

Поляну пересек ров, глубокий, как окоп полного профиля, только шире. Теперь огню здесь не пройти. А слева, справа?

Мы опять бежали, продирались через кусты, дым, гарь на новое место. Снова копали.

— Полундра! Сзади горит!

Огонь был опытным врагом. Наступая, не давая нам передышки. На этот раз он ударил по нашему флангу и кинулся в обход.

— За мной! — крикнул Воронов.

Стало так дымно, совсем ничего нельзя было разглядеть, и я споткнулся, упал, а через меня, больно стукнув по скуле ботинком, перелетел кто-то и шлепнулся впереди.

Встал ругаясь:

— Предупреждал бы, что ложишься!

Я узнал голос Сахарова.

Дым на минуту рассеялся, и он увидел меня:

— Что с ногой? Идти можешь?

Я здорово ударился — так, что сразу и встать не смог, а Сахаров уже подставлял плечо.

— Ну-ка, хватайся. Давай руку!

И смотрел на меня тревожно.

— Больно? Подняться сможешь? Давай понесу!

— Дай-ка лопату, — сказал я, потирая скулу. — На кой черт мы здесь без лопат?

Горело; трещало, шипело вокруг. Мы как-то вдруг сразу остались одни. Где остальные ребята?

Он подал мне лопату. Я оперся на нее, попробовал встать. Ничего. Больно, но идти можно.

— Знаешь, я сам...

Он вздохнул разочарованно.

— Хотя нет, — сказал я. — Не смогу. Думал, что смогу, но я ее вывихнул, кажется. Если ты...

— «Смогу, не смогу!» — заорал он. — Лезь на спину ко мне, ну? Герой! Сжаришься тут с тобой!

Он, кажется, радовался. Ладно. Я взгромоздился ему на спину и крепче обхватил за шею, с удовольствием чувствуя, как он зашатался, расставляя ноги.

Сахаров шагнул раз, другой, пятый...

— Стой!

Он остановился.

Я разжал руки, встал рядом. Потом прошел вперед шага три и обернулся.

— Можешь дать мне по морде. Имеешь полное право. Видишь: сам могу идти. Сразу мог.

Подло я себя чувствовал.

Сахаров молча обошел меня и двинулся дальше. Я — за ним.

Больше не разговаривали. Пока искали своих, я все думал: год живешь с человеком в одном кубрике и считаешь, понял его, знаешь, как свои пять пальцев, а потом вдруг оказывается, что ничего ты не понимал.

Обед нам привезли в походной кухне. Ели торопливо, молча.

Потом Воронов послал меня и Леху в разведку. Он так и сказал: «В разведку». Нам надо было обогнуть горящий лес и посмотреть, не идет ли огонь и в другую сторону — против ветра. Как это может быть — против ветра, я не понимал, но приказы не обсуждаются, а выполняются.

До сих пор я видел пожар там, где мне приказывали копать, а теперь, когда мы с Лехой шли в разведку — то шли, то бежали и, выдыхаясь, опять шли, — понял, что не видел ничего. Пе-

ред нами разворачивался весь бой с огнем: цепи юнг, мокрые от пота тельняшки, жаркие, в копоты лица и лопаты, лопаты, лопаты... Никогда не думал, что в нашей школе столько лопат! Рота боцманов, рота рулевых, рота мотористов... Гул огня, треск, пальба в лесу и — почти никаких голосов.

Огонь окружали.

А когда мы вышли к тому месту, где не было ни одного человека, а лес горел — огонь шел все-таки против ветра! — нам обоим стало страшно оттого, что здесь никого нет. И мы решили, что я хоть один начну копать канаву, а Леха вернется, доложит Воронову и приведет наших сюда.

Я копал и все поглядывал на лес впереди: не мог понять, почему же огонь идет и против ветра. Потом понял. По дыму, по искрам видно было, как вихрится горячий воздух там, в самом пекле, и как огонь, прежде чем рвануться по ветру, успевает лизнуть траву, кустарник с противоположной стороны.

...Ночью пожар шел уже на убыль, но стало еще жарче, воздух так погорячел, что казалось, кожа на лице лопнет — ведь ночью воздух влажнее.

Был момент, когда я почувствовал, что не смогу больше сделать ни одного шага, ни разу не подниму лопату. Я разогнулся и, почти ничего не понимая, смотрел на пляшущие тени, отсветы, всполохи огня, на огненные ветви, летящие в воздухе, — днем они не были так заметны. И все так же, толком не соображая, что происходит, увидел, как одна такая ветвь, большая, раскаленная, сыпля искры, медленно упала на Вадика. У него застряла лопата. Он долго выдергивал ее из земли и все никак не мог выдернуть.

В следующую секунду я бежал туда, но меня опередили: из огня с Вадиком на руках выходил Астахов, а Пестов шел рядом и спокойно сбивал со спины друга тлеющие клочья тельняшки. Они и здесь были вместе.

Вадика отправили в санчасть.

Когда начало светать, мы сидели на краю глубокого рва, похожего на окоп. От обугленной стены леса тянуло горелым. Пахло горьким дымом, землей. Было тихо.

Уткнувшись лицом в колени, на дне рва спал какой-то юнга. Никто его не будил.

— Знаешь, какие Вадик стихи написал! — сказал я Юрке.

Железнов удивился:

— При чем тут стихи?

— Таких я еще в жизни не слышал! Понял?

Юрка не ответил.

Я вдруг разозлился — не знаю, что на меня наскочило, но молчать было невтерпех.

Рядом маячил необычно молчаливый Сахаров.

— А, спаситель...

— Что? — не понял Леха.

Я обрадовался. Стал рассказывать, как тащил меня Сахаров, как старался. Расписывал вовсю, но хоть бы кто улыбнулся!

Юрка выслушал, спросил:

— Ну, стукнул он тебя?

— Нет, в том-то и дело, что...

— А зря! — прервал Железнов. — Я бы на его месте стукнул.

XVII

Шинель на себя, шинель под себя. А под голову — вещевого мешок. Слышно, как за бортом всплескивает море.

В черном стекле иллюминатора продолговато отражается синее полушарие плафона. Мелко-мелко дрожит переборка: идем «полным». К утру будем на Большой земле.

По железному трапу гулко протопали чьи-то ботинки. Вошел матрос, прислушался — вроде спим. Быстро разделся, лег, зевнул.

За бортом ухает, всплескивает, вздыхает море.

А шумели сосны...

Последние три дня мы жили в учебном корпусе: в школу прибыли юнги нового набора. Совсем пацаны... Строем они ходить не умели. Со стороны посмотришь, как гусеница ползет: по спине от головы до хвоста — волна за волной. Так бывает, когда в строю все время сбиваются, «тянут» ногу.

Салаги!.. Шинели на них топорщатся, бескозырки сползают на уши. А ремни и ленточки они получили сразу. И поселились в готовые, обжитые кубрики. Таращились: «Неужели вы все это сами построили?..»

Конечно, сами. Что и говорить, на корабли мы придем не простыми новобранцами — ведь какую школу окончили!..

Вызывал меня Авраамов. На второй день после того, как сдали экзамены. Я пришел, доложил, как положено. Капитан первого ранга стоял у окна, и я узнал кусок чистого голубого неба над теми же верхушками сосен. Солнце светило прямо в окно, горело на погонах Авраамова. А лицо его сначала было видно плохо — только седые бакенбарды.

— Садитесь, — предложил Авраамов.

Он и сам сел за письменный стол — напротив, начал расспрашивать о службе. Я, отвечая, все посматривал то на его погоны, то на модель эсминца (ее я тоже узнал) в шкафу. Это была модель современного эсминца — внука того первого русского эскадренного миноносца «Новик», которым командовал сидевший передо мной человек. Как все связано!

Я понимал теперь, почему около года назад, в этом же кабинете капитан второго ранга Иванов говорил мне об адмирале Ушакове, о матросах революционного крейсера «Аврора» и о тех, моряках, которые вчера обороняли, а завтра будут освобождать Севастополь, Одессу...

Авраамов сказал, что, как отличник учебы, я могу доложить командованию школы, где бы хотел служить дальше, — мое желание будет учтено. Тут он достал синюю папку с тесемочками: «Н-но...» И я уже знал, о чем пойдет речь. «Но, — сказал Авраамов, — Иванов, сдавая дела, оставил мне и сей документ». И протянул рапорт мне: мол, почитайте...

Не только бакенбарды — брови у капитана первого ранга тоже были седые. А глаза темные. Сухие, очень чистые пальцы оскорбленно постукивали по стеклу на столе.

— Это можно порвать, — сказал я. — Если бы я теперь встретил Иванова..

— Капитан второго ранга Иванов, — прервал меня Авраамов, — погиб смертью храбрых.

Я встал, комкая в кулаке рапорт:

— Разрешите обратиться с просьбой?

— Да.

— Прошу списать меня на боевой корабль!

Авраамов тоже встал.

— Добро. — Он кивнул, внимательно, словно узнавая, глядя на меня.

— Разрешите вопрос?

— На каком флоте погиб капитан второго ранга Иванов?

— На Северном.

— Прошу списать меня на Северный флот.

— Добро, — повторил Авраамов. И протянул мне руку. — Попутного ветра!

...Вон Леха вздохнул. Юрка ворочается. А один встал... Сахаров. Накинул шинель на плечи, чиркнул спичкой и полез по трапу наверх — покурить.

— Ребята, а я ведь писал рапорт!

Юрка не понял.

— Какой рапорт?

— Тогда... Иванову. Что хочу быть летчиком.

— А... — сказал Юрка. — Ерунда все это.

— Детство, — подтвердил Леха.

Детство, правильно.

Нас троих списали на Северный флот, Сахарова — на Черноморский, а Вадика — на Балтику.

У каждого впереди — свой корабль.

А еще сегодня — ведь это было сегодня! — мы закинули за плечи вещевые мешки и последний раз оглянулись на площадь около учебного корпуса. Юрка сказал: «А с Василь Петровичем так и не попрощались толком...»

Мы не видели его последние дни: у Воронова была уже новая смена. Служба, все ясно! Но он как-то сразу о нас позабыл...

— Ну, пошли? — сказал Леха.

...Сахаров возвращается. Кашляет — накурился.

А фронт, пока мы учились, далеко ушел от Волги, далеко!.. Но хватило войны и на нашу долю.

...Смену Воронова мы встретили около клуба, когда выходили на дорогу, к морю. Встали у обочины так, чтобы Василий Петрович нас заметил. Он и заметил, но даже виду не подал — идет, командует: «Р-раз, два, три! Р-раз, два, три!» Конечно, нам стало здорово не по себе оттого, что он делает вид, что не замечает, и командует не нами: мы стоим как чужие. Леха смущенно прокашлялся, словно хотел что-то сказать, но в это время смена поравнялась с нами и Воронов как им гаркнет: «Смирно! Равнение направо!»

На нас, значит...

Они идут мимо, лупят на нас глаза, руки по швам, из-под ботинок галька — брызгами!

Мы тоже встали «смирно», отдали честь.

У Воронова глаза серьезные, рука — у бескозырки.

Прошли.

— Вольно!..

Старшина обернулся, помахал нам рукой.

Вот и все.

А Наташу последние дни я так и не видел..

Вода за бортом перестает всплескивать, а вместо нее почему-то начинают шуметь сосны, и Авраамов улыбается: «Вот ваш рапорт.. Смир-рно!..» И я стою рядом с Ивановым, а мимо — строевым — проходят юнги. Рота за ротой, рота за ротой — и все новенькие.

* * *

— Новенький, — кивнув в мою сторону, доложил сопровождавший меня старшина. — На «пятьсот тридцатый».

Дежурный по дивизиону недовольно поморщился.

— «Пятьсот тридцатый» — в море. Вернется через час.

— Так что придется подождать, — сказал старшина. — А мне возвращаться надо в экипаж. — И ушел.

У стенки, борт к борту, стояли «морские охотники». Все одинаковые. Я рассматривал их бронированные ходовые рубки, орудия на носу и на корме, вымпелы на мачтах, номера на бортах. Значит, «пятьсот тридцатый» — такой же.

То на одном, то на другом катере иногда начинали прогревать моторы — рокот получался мощный! Вода вблизи катеров клокотала, взбаламучивалась, и чайки, крича, шарахались над мачтами. А ветер, свежий, пахнувший холодной водой и скалами, обдавал вдруг теплой гарью машинного масла.

Уже начинало смеркаться — сливались очертания стоявших рядом катеров, а скалы в сумеречном свете словно всплыли — когда «пятьсот тридцатый» вернулся.

Я подошел к самому краю пирса. Катер шел прямо на стенку, надвигался, рос. Над рубкой светлело лицо командира, а на баке стояли матросы в телогрейках, сапогах и кожаных шлемах. Звякнул телеграф. Моторы взревели, отрабатывая задний ход, и в kloкочущей, взбитой добела воде катер почти остановился, стал разворачиваться боком.

— Прими конец!

У ног шлепнулся канат и сразу пополз. Я подхватил его, захлестнул на кнехт — все в порядке! Подобрал свой вещмешок и стал ждать.

Хлопали люки. Кто-то рассмеялся. Потом я услышал голос: «Товарищ лейтенант...» И еще голос — судя по интонации, лейтенанта. По узенькому трапу, козырнув флагу, вышел на пирс небольшого роста офицер в теплой куртке-«канадке», в фуражке, как-то очень лихо сдвинутой на бровь. Он поговорил о чем-то с дежурным по дивизиону, глянул на меня.

Я шагнул вперед, вытянулся.

— Юнга? — спросил лейтенант, поправляя ремешок на фуражке.

— Так точно.

— Радист?

— Так точно, радист.

— Значит, к нам...

— Так точно.

— Что это вы заладили? — удивился лейтенант.

— Так...

— Что?

— Так... положено.

— А... — Он кивнул. — Ну что ж, пошли!

Вслед за ним я тоже ступил на трап и тоже отдал честь флагу корабля.

— Какую радиоаппаратуру изучали? — спросил лейтенант, не оборачиваясь.

— «РСБ»...

— Ну, у нас как раз «РСБ» на катере, — сказал лейтенант и вдруг остановился — так, что я едва не налетел на него. — Кранец... Почему он здесь? Убрать!

Рядом стояли матросы.

— Я вам говорю! — резко обернулся лейтенант.

— Есть!

Я поглядел — куда бы вещмешок? — положил его на какую-то железку и бросился крепить на борту кранец. А когда обернулся, командир уже ушел. Я поднял вещмешок. Снизу он весь был в машинном масле. Черт, не туда поставил!..

— Юнга! — крикнул кто-то впереди. — Давай в носовой кубрик!

В жизни никогда не бывает последнего дня — он всегда становится первым.





Г. ГУРЕВИЧ

В этом году Географгиз выпускает новую книгу Г. Гуревича «На прозрачной планете». В нее входит и повесть «Под угрозой», отрывок из которой мы публикуем в этом номере.

События происходят в некоей западной стране в близком будущем. Под угрозой находится один из районов страны — Ауриция. Ему угрожает назревающее землетрясение. Советский ученый Грибов составил проект предотвращения катастрофы. Для профилактики нужно взорвать двадцать зарядов в сверхглубоких скважинах. Местный уроженец инженер Мэтью и геофизик Йилд руководят осуществлением проекта. Скважины готовы, землетрясение будет, видимо, обезврежено...

Но вот какой неожиданный поворот получают дальнейшие события.

ПОД УГРОЗОЙ

29 октября под вечер Мэтью выступал на осеннем празднике вина и винограда. Осипший, усталый, с рукой, распухшей от рукопожатий, он отвечал на записки и выкрики — дружелюбные и издевательские, деловые и дурацкие, поощрительные и провокационные. И вдруг во время паузы услышал за окном чей-то голос, вернее даже бормотанье, с очень знакомыми интонациями. Мэтью невольно затянул паузу, слушатели тоже повернулись к окнам. И тут — видимо, включили усилитель — раздался явственный голос Йилда:

«...настойчиво просим вас выйти из домов под открытое небо — подальше от всяких стен. Выводите из домов детей, больных, стариков. Предупредите всех соседей. Постарайтесь припомнить, кто может не услышать радио...»

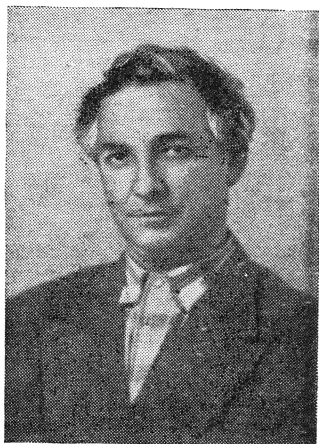
У дверей уже бурлил людской водоворот. Все ломилось к выходу. Мэтью кое-как пробился к дверям, разыскал телефон. Не сразу удалось дозвониться на радиостанцию, — наверное, туда бросились звонить тысячи людей. Но Йилда на радиостанции не было. Начальник Бюро предсказаний приезжал днем, записал выступление на магнитную проволоку. Сейчас только прокручивали запись:

«Леди и джентльмены! Все вы знаете, что нашему любимому кантону угрожает землетрясение. Знаете вы и о героических... усилиях... Мы не имеем возможности откладывать. Сегодня в 19 часов 00 минут...»

Что же происходит? Видимо, нечто неожиданное и грозное, если нерешительный Йилд взял на себя такую ответственность... даже не предупредил Мэтью. Правда, Мэтью был в дороге, сразу не разыщешь. Но почему нельзя отложить взрыв на несколько часов? Если положение критическое, все равно бомбами не поможешь. Ведь по проекту взрывать надо было за месяц до предполагаемого времени землетрясения.

«...выводите из домов детей, больных, стариков! Предупредите всех соседей. Постарайтесь припомнить, кто может не услышать радио...»

Мэтью позвонил еще в



Не первый год пишу большой фантастический роман «Все, что из атомов». Идея простая: все предметы состоят из атомов, любой можно изготовить, расставляя атомы, как буквы в типографии. Просто, но необыкновенно трудно технически. Мне подумалось даже, что осуществится все это не раньше XXIII века.

Но XXIII век — сложная тема. Что будет волновать людей тогда, какие встанут проблемы, какие трудности? Природа Земли, видимо, уже переделана — отрегулирована погода, размещение морей, извержения. Начата реконструкция солнечной системы. А человек? Его психология, продолжительность жизни, развитие таланта?

Вот и пишу — о времени, атомах, космосе, человеке.

V. Chyorny

Эльдорадо — в штаб борьбы с землетрясением. Иилда и там не было, телефонистка сказала, что он поехал к семье. («Экий эгоист, в такую минуту только о своих заботится», — подумал Мэтью.) «Кто есть в штабе? — отвечала телефонистка. — Тичер. Нет, позвать нельзя. Тичер очень занят, приказал не тревожить его. Ни для кого! О мистере Мэтью не говорил. Лучше вы приезжайте сами, мистер Мэтью...»

Мэтью кинулся к своей старенькой машине.

Ехать по улице было почти невозможно. Из домов выносили мебель, узлы, детские коляски. Машину Мэтью сопровождали угрозами и проклятьями. Только выбравшись за город, он мог увеличить скорость. Но, взглянув на часы, сообразил, что в штаб опоздает. А если и примчится в самую последнюю минуту, не успеет разобраться в обстановке, не успеет понять: надо ли вмешиваться, откладывать взрыв?

Не заехать ли на дом к Иилду? Если он еще там, то объяснит... И можно посоветоваться, принять решение, тут же вмешаться при надобности: у Иилда есть прямая связь со штабом — телевизор-селектор.

Асфальтовая лента пересекала сады. Яблони и абрикосы стояли правильными рядами, словно школьники на уроке гимнастики. Стволы были обмазаны белой пастой, обведены кругом взрыхленной земли. Там и сям вздымались оросительные фонтанчики. Солнце заходило за Береговой хребет, придавало красноватый оттенок траве, деревьям. Радугой вспыхивали фонтаны, в асфальте отражались карминовые облака. Все к вечеру затихло, казалось таким нежным, спокойным, умиротворенным.

«...Сегодня в 19 часов 00 минут Комитет по борьбе с землетрясением...»

Мэтью подъехал к желтому домику Иилдов в начале седьмого. Ворота были прикрыты, но не заперты. Бросились в глаза приметы поспешного бегства: игрушки, детское платьице на траве, следы колес на клумбе. Апельсиновое дерево было сломано — очевидно, задето фургоном, раздавленные плоды смешались с землей. Ясно, что Иилды уехали. Мэтью подергал дверь, постучал, никто не отозвался.

Все-таки Мэтью не мог понять Иилда.

Жена и трое детей? Но капитану, отвечающему за пять миллионов жизней, нельзя думать только о своей семье в час катастрофы. Жену мог предупредить по телефону, она вывела бы детей в поле, как все другие матери Ауриции, переждала бы подземные толчки от взрывов, предупредящих землетрясение, и вернулась. Неужели Иилд не верил в успех? Отдал приказ для профформы и побежал спасать родных?

Что же случилось в последний день?

Так или иначе, Мэтью и тут ничего не узнает. Иилда нет, искать его дальше бессмысленно. Надо звонить. Где тут найти телефон поблизости?

Мэтью сел в машину, взялся за ключ зажигания и вдруг вспомнил: у него же есть ключ от желтого домика. Вот он

висит на связке — сохранился еще с тех времен, когда они с Грибовым ночевали тут пять раз в неделю.

...Распахнутые шкафы, пустые вешалки, скомканные бу-
мажки, грязные следы на линолеуме. Мэтью передернуло.
Желтый домик был не похож на обитаемое жилище, как
труп не похож на живого человека.

В передней полутьма. Мэтью передвинул рычажок селек-
тора. Молчание, даже не гудит. Тока нет, что ли? Дотянулся
до выключателя. И лампочки не горят. А где тут пробки?
Насколько он помнит, у Йилдов пробки автоматические, по-
чинить их ничего не стоит, нажал кнопку, и свет зажигается.

Нащупал кнопку, надавил. Полутьма. Чиркнул зажига-
лкой. Что такое — провода оборваны? Зачем понадобилось
Йилду, уезжая, еще и провода рвать?

«...Нашему любимому кантону угрожает землетрясение...»
Голос Йилда.

Мэтью толкнул дверь кабинета.

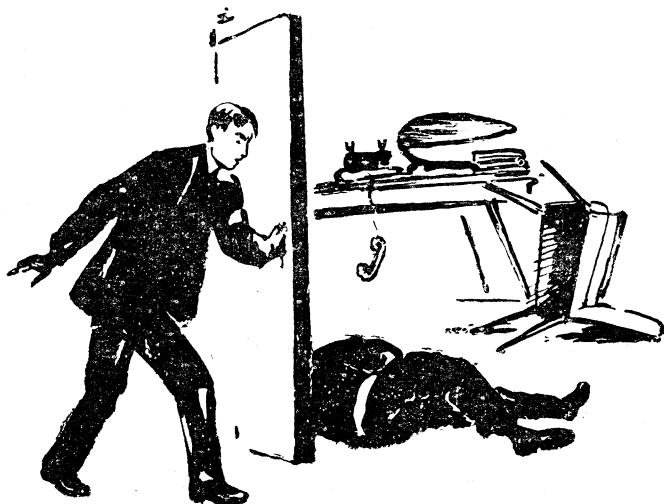
Что это?

На полу, скорчившись, лежал человек. Липкая черная
лужа растеклась по пластмассовому коврику, в правой руке
поблескивал пистолет...

— Гемфри, — вскрикнул Мэтью. — Зачем? Черт, какая
глупость!

Йилд лежал, неловко скорчившись, а голос его жил, гре-
мел над мертвым телом: «Выводите из домов детей, боль-
ных, стариков...»

А где же Бетти, знает ли она? Трое детей... Как это он
не пожалел жену? И почему, с какой стати? Ошибся в рас-
четах, боялся суда? Значит, катастрофа неизбежна, предот-
вратить ее нельзя?



На столе что-то белеет... Записка? Мэтью потянулся, решился переступить через тело, схватил бумагу:

«Дорогие друзья, сограждане, соседи! Я ухожу из жизни потому, что мне горько и стыдно, невозможно смотреть вам в глаза. Поверив в проект Александра Грибова, не разобравшись в его расчетах, я стал соучастником великого преступления, виновником ваших бедствий. Ауриция, прости меня! Бетти, прощай! Молись за мою грешную душу. Воспитавай детей христианами. Когда они вырастут, расскажи им правду о несчастном отце, пусть не проклинают глупца, который вызвал катастрофу по доверчивости».

Мэтью несколько раз перечитал странное письмо, никак не мог уловить смысла. Йилд считал себя виновником катастрофы. Какой?

И вдруг Мэтью понял все: это не самоубийство! Он стоял ошеломленный. Кому-то нужно землетрясение, кто-то хочет извлечь выгоду из катастрофы. Йилда купили или запугали, уговорили взять на себя вину, ему продиктовали эту записку, обещая покой, безопасность, наверное, и богатство... в далеких странах. А потом обманули, убрали. Сделали это умело — за час или два до катастрофы. Все было принято в расчет: кругом паника, дома опустели, быть под крышей небезопасно. Никому и в голову не придет ломиться в закрытый дом. Даже такую деталь учли: после землетрясений бывают пожары от замыкания проводов, и чтобы тело Йилда не сгорело вместе с посмертной запиской, выключили свет. Одного убийцы знать не могли: что Мэтью едет сюда и что у него в машине ключ от дома Йилдов.

... Королевский гамбит был излюбленным началом «уранового короля» Джона Джеллапа.

Гамбит, как известно, заключается в жертве пешки на f4. Пешка отдается для того, чтобы развить атаку.

...Что делать?

Йилд убит, провода оборваны, кто-то готовит катастрофу. Звонить в штаб? Но, может, именно, там, в штабе, сидят преступники, тот же Тичер, бестолковый или притворяющийся бестолковым. Может, он и есть главная пружина? Нарочно приказал не звать себя к телефону, чтобы Мэтью не мог отменить его преступных распоряжений...

В полицию? Но шеф в поле переживает землетрясение. у телефона в лучшем случае сидит дежурный, не имеющий права решать, не имеющий права отлучаться.

Телеграфировать губернатору? Самому президенту?

Поздно! Поздно!

Тридцать восемь минут осталось. Мэтью заставляет себя не волноваться, подумать как следует.

«Что, собственно, может сделать Тичер вредного? Взорвет снаряды раньше времени? Никакой от этого катастрофы не будет. Взорвет не все снаряды? И так ничего страшного не

получится. Взорвет больше, чем надо? Не могли ему дать без счета лишние бомбы! Да, но в записке Йилда написано точно: «вызвал катастрофу». Как можно вызвать катастрофу? Ага, понятно! Тичер взорвет сначала скважины второй очереди, он уничтожит те гранитные массивы («шипы», «зубья», — говорил Грибов), на которых держится сейчас Ауриция. Тичер изменит последовательность взрывов и вместо того, чтобы оттянуть землетрясение, ускорит его. И делает это на западных скважинах — «Сона», «Сона-бис», «Рэйс», «Седар».

«Сона-бис» в шести милях отсюда. Туда можно успеть!

Тридцать семь минут оставалось.

Мэтью кинулся к машине, дверцу захлопнул уже на ходу. Выскочил на дорогу. Скорее! Асфальтовая лента, шипя, ложилась под колеса. Солнце уже зашло, на небе багровели облака, малиновыми зеркалами блестели пруды, листва была ржавой, трава — ржавой, а тени бордовыми. Но ландшафт уже не казался Мэтью живописным, лиричным и мирным. Все красное, как будто кровью налитое! Кровью Йилда... и многих еще, тех, кто погибнет через...

Тридцать три минуты... тридцать две минуты!

Маленький городок на пути. На улице табором расположились семьи. Детишки спуют на асфальте.

— Куда несешься, проклятый?! С ума сошел? Здесь дети!

Двадцать девять минут! Целых три минуты потеряно в этом столпотворении.

Дамба через болотистую низину — прямая как стрела. Машина рвется вперед, даже прыгивает с неровностей. Впереди малиновая гладь залива, эстакада, вышка, баки.

Без двадцати пяти минут семь.

И вдруг:

— Стой, кто идет?

У самого въезда на эстакаду ворота. Когда они тут появились? И солдат, сдернув автомат, кричит неистовым голосом:

— Стой! Сдавай назад! Нельзя!

— Эй, слушай, я Мэт, я Мэтью — я главный инженер.

— Не знаю никаких Мэтов. Отойди, стрелять буду!

— Позови мне Джека Торроу!

— Не знаю никаких Джеков.

— Ну, позови офицера!

— Не велено звать никого до семи часов. Отойди, стрелять буду!

Мэтью старается взять себя в руки:

— Слушай, парень, ты пойми: я главный инженер. Я приехал, чтобы предупредить землетрясение. Есть преступники, которые хотят катастрофы. Я не могу ждать до семи, в семь будет уже поздно.

— Отойди, стрелять буду!

Двадцать две минуты осталось. Куда мчаться? Где разыскивать телефон, как связаться с Джеком Торроу?

— Парень, ну пойми ты своей головой, я людей спасти должен. Ты из-за своего упрямства погубишь тысячи. На твоей совести будет.

— Стой, не подходи!

Мэтью пробует кричать, но вышка на островке, длина эстакады метров триста. Если даже крики и доносятся туда, никто не обращает внимания. Мэтью садится в машину, опять выходит, придумывает какие-то убедительные слова:

— Слушай, солдат, позови ты своего начальника, он разберется.

— Не велено до смены. Стой, не подходи!

Девятнадцать минут осталось.

Выхода нет. Без восемнадцати минут семь. Мэтью достает большой блокнот, печатными буквами пишет: «Я Мэтью. Примите меры против преступления. Преступники убили Иилда, они хотят вызвать землетрясение. Не дайте взорвать, отключите скважину «Сону», «Сону-бис», «Рэйс», «Седар»!»

Расчет простой. Солдат выстрелит и убьет Мэтью. На выстрел кто-нибудь прибежит, прочтет записку. За четверть часа можно отключить скважины.

— Ну, стреляй!

Выставив блокнот, Мэтью идет на солдата. Тот вскидывает автомат, черная дырочка смотрит в упор. Мэтью видит молодое лицо солдата, веснушчатое и розовое, видит его глаза, страшно испуганные. Парню до смерти не хочется стрелять в живого человека. Но служба есть служба. Палец ложится на спусковой крючок. «Ведь выстрелит», — думает Мэтью и кричит:

— Стреляй же, черт тебя возьми!

Черный кружок становится громадным, заслоняет весь мир. Мэтью уже чувствует, как что-то острое и горячее проходит сквозь живот. Противное ощущение!

Хочется оказаться за тридевять земель отсюда, на Южном полюсе например. Но он делает шаг вперед. Он еще успевает обругать себя за большое воображение. Не придумал ли он сам все преступление? Иилд мог покончить с собой с перепугу. Землетрясение? Что там еще будет! Ведь он может остаться живым.

Но Мэтью делает шаг вперед, и еще, и еще...

— Стой же, стреляю! — голос солдата срывается на визг. Сейчас выстрелит. Мэтью закрывает глаза.

Удары бича с присвистом. Короткое щелканье. Звон в ушах.

Мэтью останавливается, расслабленно свесив руки. Отдывается, стирает пот. Молодец солдат, сделал что требуется. Дал очередь в воздух.

Придерживая болтающуюся кобуру, бежит к воротам офицер. Мэтью слышит, как солдат оправдывается плачущим голосом:

— Сумасшедший какой-то! Лезет на ворота, обезумел со страху. Никаких предупреждений не слушает.

— Я Мэтью, Патрик Мэтью! Вызовите мне мастера Торроу! Преступление! Угроза катастрофы!

Остается четырнадцать минут, когда Мэтью и Торроу рядом бегут по гулкому настилу эстакады. С Джеком легко. Он все понимает с полуслова.

— Какие негодяи, Мэт! Но слушайте, что же делать? Ведь бомбы-то взорвут по радио.

В самом деле, по радио! Провод можно перерезать, как перережешь радиоволну?

Остается тринадцать минут.

Мэтью хлопает себя по лбу.

— Соображать надо, парень. Бомба-то на большой глубине под землей, радиоволны туда не доходят. Приказ пойдет по радио, но с ретрансляцией через твой ультразвуковой пульт. Отключай ультразвук.

Молодой мастер бежит к пульта. Что-то там не ладится с отключением, а время не ждет. Мэтью хватается гаечный ключ, змеятся стеклянные трещины, вспыхивают искры. Мэтью бьет с остервенением. Нетрудное дело — ломать.

Осталось девять минут.

— Джек, мобилизуй всю свою связь — радистов, телефонистов, селектор.

Они выбегают из кабинета управления.

И тут кто-то толкает Мэтью.

Ноги заплетаются, и он летит на дощатый настил. Хочет встать и не может. Настил, скрипя, наклоняется, словно палуба судна. Плещет залив, гул катится под землей... Включили-таки землетрясение, даже на восемь минут раньше срока!

Ветер проносился по берегу, стонут потревоженные деревья. Но Мэтью понимает: землетрясение не состоялось. Так себе удар, на пять-шесть баллов. Выступ «Сона-бис» устоял и спас Аурицию от катастрофы... временно. На месяц, а может быть на час.

Определенные круги той страны, которой угрожает землетрясение, хотели бы повернуть историю вспять. В провокационных целях они готовы даже разрушить родной край.

И это они пытаются сделать так, чтобы проект Грибова не был осуществлен, — взрывают заряды не вовремя и не те, которые следует. А в неудаче можно будет обвинить советского ученого.

Но люди доброй воли побеждают. С помощью Грибова им удастся отсдвинуть срок грозного стихийного бедствия, а затем и предотвратить его.



(НАУЧНО-ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РАССКАЗ)

С. ГАНСОВСКИЙ

Рисунки Ю. МОЛОКАНОВА

— **Не** беспокоит, синьор?.. Вы знаете, эту бритву я купил полгода назад и еще ни разу не точил. Конечно, она уже садится. Но страшно отдавать. Сами знаете, как теперь точат...

Синьор, кажется, иностранец?.. Чувствуется по акценту. Да и потом, когда живешь в таком городишке, как наш, знаешь каждого, кто приходит к тебе в парикмахерскую. Вам понравился наш городок? Конечно, в Италии таких много. Но наш Монте Кастро все-таки город особенный. Синьор слышал что-нибудь о театре Буондельмонте и о певце Джу-

лио Фератерра?.. Да-да, многие считали, что он станет рядом с самим великим Карузо. Так вот, вся история происходила в нашем городе, на наших глазах. Театр Буондельмонте — это у нас. А Джулио живет здесь рядом. Он мой сосед. Больше чем сосед.

Что вы сказали?.. Только один год? Нет, синьор, гораздо меньше. Джулио Фератерра выступал всего три раза, но и этого было довольно, чтобы мир затаил дыхание. Первый концерт прошел почти незамеченным, а последний слушала вся Италия. Но больше он уже не пел. Никогда в жизни... Самоубийство? Нет, что вы! Никакого самоубийства. Просто у Джулио был сделанный голос. Один бельгиец... Вернее, один бельгийский хирург...

Как, синьор ничего не слышал об этом? Ну, тогда синьору просто повезло. Потому что я-то знаю эту историю из первых рук. Но прежде чем говорить о Джулио, надо сказать несколько слов о театре Буондельмонте.

Синьор видел театр?.. Нет? Но тогда синьору, наверное, известно, что такое «концерты Буондельмонте»? Понимаете, старый граф Карло Буондельмонте — дед нынешнего владельца — построил в трех милях от городка виллу, чтобы раз в пять лет там могли собираться настоящие ценители и слушать лучших певцов и музыкантов Италии. Выступить на сцене Буондельмонте — это уже большая честь. Но если вас там признали, можете считать себя действительно выдающимся артистом. С рекомендацией Буондельмонте примут в Ла Скала и вообще на любую оперную сцену мира.

Старый граф не продавал билетов на концерты, нет. Он даже оплачивал дорогу тем, кому это было не по средствам. При старике вы тут не встретили бы заскеанских миллионеров с раскрашенными дочками. Тогда в зале сидели знатоки: преподаватели пения, артисты, музыканты. Никто не обращал внимания, если у человека рукава на локтях потерлись. Сейчас, при внуке старого графа, все совсем по-другому. Билеты на концерты продаются. А поскольку в зале всего четыреста мест и концерты бывают только раз в пять лет, можете себе представить, по каким ценам.

Но так или иначе, концерты продолжаются. Первый был в 1875 году, и с тех пор их состоялось шестнадцать. По времени должно бы восемнадцать, но один пропустили перед первой мировой войной, а второй — в сорок пятом году. Внук старого графа сидел тогда в тюрьме у американцев. Как военный преступник.

Простите, синьор, я еще немного направляю бритву... Так вот, вы сами понимаете, что наш городок живет только этими концертами. Конечно, мы не можем покупать билеты в театр. Но ведь в зале Буондельмонте работают наши люди: билетеры, уборщики, буфетчицы. И у каждого есть родственники и знакомые.

Я сам был на всех концертах, синьор, начиная с 1910 года и кончая последним в 1960-м. Я видел здесь много знаменитостей, когда был молод. Бессмертного Карузо. Густава

Малера, прятавшего все понимающие глаза за толстыми стеклами очков. При мне по коридорам виллы Буондельмонте осторожной походкой, словно боясь запачкаться, проходил Артуро Тосканини со своим длинным прямым носом и густыми бровями... Я многое видел здесь. Да что я — я уже старик! Остановите сейчас на улице любого мальчишку-разносчика и спросите его, кто лучше делает трель — Де Лючия или Де Лукка. И он вам ответит правильно.

Одним словом, именно в таком месте, как наш Монте Кастро, и должно было случиться то, что случилось с Джулио Фератерра. А началась вся эта история во время последнего концерта, в 1960 году.

Этот Джулио, надо вам сказать, был парень как парень и отличался от других только тем, что среди всех одержимых музыкой жителей нашего городка был самым одержимым. Несколько человек в Монте Кастро имеют радиоприемники — нотариус, мэр городка, трактирщик и еще двое. Обычно по вечерам, если передают хороший концерт, владелец приемника выставляет его на окно. Кругом собирается народ. Одни слушают молча, другие подпевают, третьи громко восторгаются — все по-разному. Но никто не умел слушать музыку так, как Джулио Фератерра.

Вы понимаете, при первых звуках какой-нибудь канцонетты он застыл на месте, как... как несгораемый шкаф. Можно было окликнуть, толкнуть его — он только отчужденно оглядывался. Он не слушал музыку, он жил ею. И вы чувствовали, что все его тело, каждый нерв поют в тон тому, что он слышит. Иногда он выходил из своей неподвижности, поднимал руки и не то чтобы дирижировал, как любят делать некоторые, а словно ласкал звуки, пытался нащупать пальцами их бегущие, ускользающие очертания.

Эта страсть приносила ему много неприятностей. Вообще он был парень ладный и ловкий, веселого нрава, старательный — его охотно брали на работу лавочники и мелкие местные помещики. Но часто дело кончалось скандалом: отправляясь по какому-нибудь поручению, он просто не доходил до места, заслушавшись по дороге музыкой. Даже со своей любимой девушкой Катериной он постоянно ссорился из-за того же самого.

Так вот, можете себе представить, синьор, как этот Джулио должен был ждать очередного концерта на вилле Буондельмонте. Один он слышал в пятьдесят пятом году — ему тогда было 20 лет. Потом он отслужил в армии, вернулся и еще за год до нового концерта стал готовиться к тому, чтобы проникнуть на виллу. Сначала ему удалось поступить садовником в парк, а перед самым съездом певцов, в августе, его назначили помощником осветителя в театре. Мечта его сбылась — он мог увидеть и услышать все.

Вы, наверное, слышали, синьор, что «концерты Буондельмонте» шестидесятого года были не совсем обычны. Владелец театра решил на этот раз пригласить на них иностранных певцов и музыкантов. Но Италия тоже была прекрасно представлена. На сцене выступал хор мальчиков из

Милана, пела Анелли и, конечно, Марио дель Монако, яркая звезда которого уже поднялась к этому времени в зенит.

Билеты продавались по совершенно фантастическим ценам, но зал был полон. Наша гостиница мала, поэтому большинство слушателей каждое утро приезжали прямо из Рима на автомобилях. Чудной народ собрался, я вам скажу. Не знаю, возможно, эта мода была и раньше, но мы тогда впервые увидели женщин с волосами разных нечеловеческих цветов. Серьезно, синьор... одна американка ходила на концерты с шевелюрой ярко-зеленого цвета.

Но это все неважно. Джулио, как и мне, впрочем, удалось прослушать почти все выступления. И в тот день, когда пел Монако, Джулио познакомился с бельгийцем. Вернее, бельгиец сам подошел к нему.

Понимаете, дело было так. Во время выступления Монако Джулио сумел пробраться в зал. Он встал за последним рядом кресел. Монако начал петь, и Джулио, сам того не замечая, сделал несколько шагов вперед по проходу, затем еще несколько и, наконец, оказался посреди зала. Монако исполнил первую вещь — арию Туридду из «Сельской чести» Масканьи. Аплодисменты. Еще ария, снова овация. А Джулио словно окаменел и даже не аплодировал. Люди оглядывались на него, перешептывались, пожимали плечами. Кто-нибудь другой почел бы себя оскорбленным, но Марио дель Монако — великолепный певец и великолепный человек — понял состояние своего слушателя и перед заключительной арией приветственно помахал ему рукой.

Но вот последняя вещь была спета, занавес упал при громе аплодисментов. Публика поднялась и начала по центральному проходу выходить из зала, а Джулио все стоял как замороженный. Разодетые дамы и господа обходили его, косясь, а он ничего не замечал.

И тут я увидел, что с Джулио заговорил тот бельгиец.

Я хорошо запомнил его. У него было совершенно круглое лицо, как бы обведенное циркулем. Маленькие серые глазки в очках без оправы и тонкие прямые губы. Нехорошее лицо, синьор. Если когда-нибудь встретите человека с таким лицом, берегитесь: он принесет вам несчастье.

Я видел, как бельгиец заговорил с Джулио — они вместе стояли в проходе и вместе мешали публике выходить из зала. Потом бельгиец взял Джулио под руку, отвел в сторону. Они вышли из зала, сели за столик в буфете и просидели там весь антракт. Джулио выглядел очень серьезным — бельгиец что-то говорил, а он молча кивал головой.

И в тот же вечер Джулио исчез из городка.

Я об этом узнал от Катерины. Девушка прибежала ко мне, потому что мы с Джулио немножко дружили, несмотря на разницу в летах. Одно время он даже работал у меня в парикмахерской. Но какая это работа, синьор, если за день приходят три человека, причем один вовсе не бриться, а попросить головку лука до субботы...

Так вот, Катерина пришла ко мне, и была она чернее

ночи. Сказала, что и прежде они с Джулио ссорились, но после такого поступка она и знать его не хочет. Понимаете, он оставил дома записку и уехал. Написал всего три слова: «Не беспокойтесь, вернусь». Но куда он уехал, зачем? А в доме старая больная мать да три сестры, и старшей всего тринадцать лет.

Девушка была обозлена. Я успокаивал ее как мог.

Потом целых три месяца не было никаких известий. В городе решили, что Джулио уехал в Бельгию. И вдруг — письмо на имя Катерины. Совсем коротенькое. Джулио писал, что лежит в Риме, в частной клинике на Аппиевой дороге, и просит ее, Катерину, приехать и взять его оттуда.

С этим письмом девушка снова явилась ко мне. Я спросил, поедет ли она, но у нее уже был билет на автобус.

Целый день мы с матерью Джулио и его сестрами тряслись от страха, а вечером с последним автобусом наш беглец вернулся в сопровождении Катерины. Почти весь городок встречал его. Он сошел с подножки на костылях, поддерживаемый Катериной. Он был белый как снег, синьор. Позже Катерина рассказывала, что в больнице она сперва увидела на подушке только его черные глаза и черные волосы. Лицо было такое бледное, что совсем сливалось с подушкой.

Мы проводили его до дома, и там он рассказал нам все. Бельгийский хирург сделал ему операцию. Эта операция должна была дать Джулио прекрасный голос — и действительно дала. Джулио Фератерра уехал из нашего городка безголосым, а вернулся из Рима с сильным и звучным голосом, которому могли бы позавидовать лучшие певцы Италии. Но что это была за операция, синьор? Что сделал с нашим Джулио бельгийский хирург?

Вот тут-то и начинается главное.

Синьор, скажите мне, от чего зависит голос? Почему у одних он есть, а другие его лишены? Почему у одного человека бас, у второго баритон, у третьего тенор? Почему, например, у того же баритона одни ноты получаются тусклыми и пустыми, а другие звучными и бархатистыми?

Обычно считают, что голос и способность петь зависят от особого устройства гортани и голосовых связок. О человеке с хорошим голосом даже говорят: «У него серебряное горло». Но так ли это? Давайте подумаем. Ведь не говорим же мы, что способность рисовать, талант художника зависят от формы его пальцев или от устройства глаз. Глаза-то у всех одинаковые. Мы не говорим, что дар композитора — результат особого устройства его ушной раковины. Если бы все зависело от уха, композиторы не учились бы друг у друга, музыкальные школы не следовали бы одна за другой, и Мендельсон мог бы появиться прежде Рамо. Значит, синьор, дело не в строении уха, глаза или горла.

Нет, и трижды нет! Если мы признаем способность петь за талант, а прекрасное пение — за искусство, то дело тут не в горле. Талант к пению нужно искать не в глотке, а выше — в голове человека, в его сознании. То, что одни поют, а другие нет, зависит от мозга.

Именно это и понял бельгийский хирург. И когда он задался целью создать безголосому человеку голос, он со своим ножом приступил не к горлу человека, а к его голове.

Уже позже, стороной, мы узнали, что это была не первая его попытка. Ножом и шприцем он залезал куда-то в речевые центры, которые помещаются, если я не ошибаюсь, в левой лобной доле мозга. Алляр — так звали бельгийца — хотел усилить деятельность этих центров и сначала, естественно, делал опыты на животных, обрабатывая те участки их мозга, от которых зависит рев или мычание. А потом перешел и на людей.

Но, понимаете, это очень сложная штука. Тут же поблизости у человека помещаются центры дыхания, кашля, тошноты и всякие другие. Поэтому не мудрено задеть и их. Одним словом, две первые операции были неудачны, и тогда Алляр стал искать себе третьего добровольца.

Вас может это удивить, синьор, но тот человек, бельгиец, не любил ни музыки, ни пения. И научная сторона вопроса его не слишком интересовала, хотя он был выдающимся хирургом. Алляр любил деньги. Был богат, но хотел стать еще богаче. План его был прост. Он выучивается делать людям голос и открывает специальную клинику. Одна операция — тридцать тысяч долларов. (Он рассчитывал именно на богачей, на миллионеров.) Несколько лет такой работы, и он не беднее Рокфеллера. Он был жестокий и решительный человек, и две первые неудачи не остановили его.

К нам на «концерты Буондельмонте» бельгиец приехал, чтобы присмотреться получше к богатым любителям музыки. Увидев, как Джулио слушает Марио дель Монако, он понял, что парень может стать его третьим пациентом.

Они составили договор о том, что, получив голос, Джулио будет выступать только с разрешения хирурга. Алляр предупредил, что операция будет нелегкой и опасной. Потом Джулио лег в клинику, бельгиец сделал ему операцию и после три месяца ставил на ноги (у Джулио почему-то получился частичный паралич, и затем он навсегда остался хромым). Но голос действительно родился, синьор. Прекрасный сильный голос. Нож хирурга попал на какие-то нужные центры и сделал чудо.

Когда Джулио начал ходить, было устроено испытание. Парня привели в комнату, где стоял рояль. Алляр потребовал, чтобы он запел. Потом бельгиец выслушал его, еще совсем слабого и больного, и в бешенстве, со страшными проклятиями выбежал вон. Почему? Да потому, что у Джулио не было музыкального слуха. Он страстно любил музыку, он жил ею, но не имел слуха. Теперь, в результате операции, у него родился чудесный по тембру могучий голос. Но он открыл рот и заревел этим голосом, как осел...

...Ну, чего тебе, Джина?.. Простите, синьор, это моя жена. Мыло? Какое мыло?.. Я намылил синьора, и мыло уже высохло... Ах, это!.. Извините, синьор. Действительно, мыло высохло. Сейчас, сейчас я все сделаю. Вот полотенце. Я намылю снова и добрею вас... Извините, пожалуйста...

Так о чем я говорил? О том, что у Джулио не было музыкального слуха... Бельгиец, который затратил деньги на операцию и содержание парня в клинике, оказался как бы в дураках. Когда хирург пришел в себя и оправился от гнева, он сказал, что дает Джулио полгода, чтобы выучиться пению. После этого Джулио должен был предстать перед специалистами, которых соберет бельгиец, и продемонстрировать свое искусство. Затем врач уехал к себе на родину, а Джулио, как вы знаете, вернулся в Монте Кастро.

Но что такое слух, синьор? И какое он имеет значение для занятий музыкой? Чтобы ответить на этот вопрос, разрешите мне объяснить вам, как я понимаю самую сферу музыки. Можем ли мы говорить, что музыка — это лишь красивые и приятные уху сочетания звуков?

Синьор, вы думали когда-нибудь о том, отчего такое чистое и сильное волнение овладевает нами при первых звуках Девятой симфонии? Вот вы сели в кресло в концертном зале. Погасли огни. Стихают разговоры в публике и шепот в оркестре. Наступает глубокая и прекрасная тишина. Мгновение ожидания. Как будто некий огонь зажегся в сердце дирижера, рука поднята, искра пробегает между ним и оркестром. И вот возник полный ре-минорный аккорд. Звук валторн, зовущие в поход... яростный порыв ветра...

И мы уже унесены. Нет зала, кресел, погашенных люстр. Уже отлетели все мелкие заботы, душа очистилась, и вместе со всем человечеством мы вступаем в великий бой со злом и неправдой, в который ведет нас Бетховен на страницах своей Девятой симфонии. Отчего это так, синьор?

Я отвечаю вам, сказав, что музыка — это небо над всеми искусствами. Это самое человеческое из искусств. Вы понимаете, художник рисует картину, но того, что он нарисовал, я мог никогда и не встречать в жизни. Писатель описывает событие, однако со мной ничего подобного могло никогда и не случаться. Но композитор рисует только чувства, а чувствуем мы все, синьор.

Другими словами, музыка — это то, что поет в нашем сердце и ищет выхода. А если это так, то слух, музыкальный слух, которым каждый настройщик роялей владеет даже в большей степени, чем композитор, слух — явление чисто техническое, я бы даже сказал, медицинское — не может иметь в ней решающего значения. Владея музыкальным даром, не так уж трудно выработать слух.

Одним словом, синьор, я взялся учить Джулио пению. Я немного музицирую, и дома у меня есть инструмент. Не рояль, а челеста. Вон там она стоит, в задней комнате. Челеста похожа на небольшое пианино, но меньше его — в ней всего четыре октавы. Звук извлекается не из струн, а из металлических пластинок и чрезвычайно нежен. Нежный, небесный звук, и потому сам инструмент называется *celesta*, то есть «небесная». Вас может удивить, откуда у бедняка парикмахера такая дорогая вещь. Но дело в том, что мой дед состоял в оркестре у старого графа Карло Бу-

ондельмонте, а тот, умирая, завещал все инструменты оркестрантам, которые на них играли.

Так вот, когда Джулио в тот вечер, лежа в постели, рассказал нам свою историю, я тут же, не сходя с места, пообещал сделать из него певца. Конечно, я всего лишь дилетант, синьор, но это слово только в иностранных языках приобрело неприятный, ругательный оттенок. По-нашему, по-итальянски «дилетант» значит «радующий» — тот, кто радуется людям своей преданностью искусству, музыке или живописи.

Когда Джулио немного отдохнул, Катерина каждый вечер стала приводить его ко мне. Было что-то трогательное, синьор, в этой парочке. Он, высокий, худой, зеленый, с трудом волокающий ноги, и она, Катерина, крепкая, пышущая здоровьем. Целые дни она работала на огородах, почти от солнца до солнца, но к вечеру у нее еще оставались силы, чтобы обстирать маленьких сестренку Джулио и вымыть пол в их каморке. Молодость, синьор.

Мы начали с нотной грамоты и сидели на ней около трех недель. Одновременно я ему показал интервалы: прима, секунда, терция... И примерно через месяц взялись за сольфеджио. Он пел по нотам, а я поправлял. Голос, открывшийся у Джулио, был сначала высоким баритоном, который у нас зовется «баритоном Верди», потому что все оперы композитора требуют именно такого голоса.

Слух развивался у него удивительно быстро. Однажды, на втором месяце обучения, он поразил меня тем, что, прослушав предыдущим вечером по радио «Прелюды» Листа, на другой день подхватил главную тему в ми-миноре и повторил ее на нашей челесте почти всю верно.

Но голос и слух, синьор, — это одно, а искусство петь — другое. Вы понимаете, он не умел держать звука. У него был великолепный голос без провалов, без тусклых нот, ровный и сильный как в верхах, так и в середине. Но стоило ему взять звук, верный, чистый и хорошо интонированный, как он тотчас бросал его, срываясь на что-то непотребное.

Между тем в чем же состоит *bel canto*, наше итальянское «прекрасное пение»? Именно в умении держать звук по-особому. В этом его отличие от неискусного пения. Вы берете звук музыкальной фразы и держите его, не бросая и не уменьшая силы, до момента наступления по темпу второго звука. Этот второй вы берете сильнее и держите до третьего. Третий еще сильнее — и так до самого сильного места, а потом тем же порядком вниз. Тогда и получается цельная, крепкая музыкальная фраза. Только тогда вы и поете не отдельными словами, а фразами.

Как раз этому я и стал учить парня. Но как, синьор? Я попросту пел вместе с Джулио. В музыкальных школах существует термин «ставить голос». Там обучают, как образовывать звук, как выталкивать воздух через голосовые связки, как добиваться, чтобы их дрожание резонировало в груди и в верхних резонаторах. Но все это не внушает мне доверия. Вы же не можете сказать себе во время пе-

ния: «Ну-ка я сейчас натяну голосовые связки и поверну их вот этак...» Попробуйте спеть что-нибудь, думая о том, как держать гортань, и вы станете мокрым через две минуты...

Короче говоря, мы просто пели. Мы пели вместе, потом он пел один, а я поправлял его. Или я пел, а он слушал.

Конечно, у нас были большие разочарования, синьор. Целых два месяца у Джулио ничего не выходило. Хотя слух развился скоро, но это был слух, так сказать, «в уме», и парню никак не удавалось перевести его в голос. Он раскрывал рот, и после первой верной ноты раздавалось такое, что хоть беги из комнаты. Порой он подолгу сидел бледный, кусая губы, по лбу его тек пот, и мы старались не смотреть друг на друга.

Но позже, на третий месяц, стало что-то вырисовываться. Что-то стало прорезываться, синьор. В хаосе фальшивых тонов начали иногда проскальзывать верные, и это было как явление бога. Потому что голос-то был божественный.

А потом пришел день — один из лучших в моей жизни. Вот и сейчас слезы навертываются мне на глаза, когда я вспоминаю его. Мы разучивали ариозо Канио из «Паяцев». Вы, конечно, помните то место оперы, когда несчастный Канио узнает об измене Недды. Он паяц, и самостоятельность его ремесла приучила его к гордости и независимости. Он уже немолодой, поживший мужчина, и это придает его страданию особенно сильный характер. Канио боготворил свою жену и вдруг узнает, что он обманут. Горе его не поддается описанию... Но в довершение этого он должен сейчас выступить в балагане в роли обманутого глупца мужа и насмеяться надо всем тем, что плачет сейчас в его сердце...

Я проиграл на челесте вступление — оно совсем маленькое. Джулио, казалось, глубоко задумался, он молчал. Я окликнул его, он бросил на меня взгляд — словно сверкнул огонь. Джулио запел:

«Играть... Когда точно в бреде я...»

И он спел это верно, синьор. В первый раз верно. Но как спел! Синьор, мы посмотрели друг на друга, и слезы выступили у нас на глазах.

Вы понимаете, это был день как день. Мы сидели вон в той захламленной комнатухе. За стеной сосед-сапожник стучал молотком, на улице женщина споласкивала ведро у колонки. Все было как обычно, и вдруг в эту обыденность вошло что-то большое, огромное. Все вокруг изменилось, и мы уже были не те. Такова сила искусства. Как будто мы поднялись высоко-высоко и поняли что-то в нас самих — прекрасное и глубокое.

Одну-единственную фразу он спел верно, но это было как если бы все на этой земле, кто любил и был обманут, вдруг получили голос и позвали нас к жалости и состраданию. Это уже не Джулио пел. Это пела вся жизнь нашего маленького городка и сотен других таких же городков. Наша бедность, мечты, горести и наши надежды на счастье. И уже не моя челеста аккомпанировала пению, а огромный оркестр исполнял великую музыку Леонкавалло...

...Что?.. Извините, синьор... Ты сказала — бритье?.. Черт меня побери, женщина, ты превышаешь свои права. Какое бритье, когда мы говорим о музыке!.. Я не добрил синьора? И что же? Простите, синьор. Правда, это бритье нам только мешает. Разрешите, я вытру вам лицо. А потом, позже, мы все это кончим...

Так на чем я остановился? Я рассказал вам, как Джулио впервые начал петь верно. А после этого, синьор, оно пошло. Как лавина. С каждым днем фальшивых нот становилось меньше, и, наконец, они исчезли совсем. А голос продолжал расти, и его диапазон расширялся на глазах.

Я совсем забросил парикмахерскую, признаюсь вам. Да и до того ли было, когда рядом рождалось такое чудо. Целые дни мы пели, и, конечно, городок тотчас узнал о свершившемся. Вечерами здесь под окнами собиралась толпа, а потом люди стали ждать тут с полудня, причем некоторые приходили за десять-пятнадцать километров. Другой бы возгордился на его месте, но Джулио оставался таким же, каким был прежде.

А потом мы поехали в Рим, чтобы проверить свои силы, так сказать, на «всеитальянской арене». Как вы догадываетесь, я вызвался быть импресарио при моем друге.

В Риме на Виа Агата помещается музыкальный театр братьев Анджелис. Если вы знаете город, синьор, то можете себе представить — это недалеко от моста Мильвио, но не в сторону стадиона, а к вокзалу. Там еще идет подряд несколько улиц, которые называются в честь разных исторических битв.

Так вот, первого января прошлого года мы приехали в Рим рано утром на автобусе, трамваем добрались до моста, а оттуда пошли пешком. Театр помещается на самой середине Виа Агата, и вдоль домов по обе стороны его стоят большие полотняные щиты с рекламой.

Джулио я оставил внизу на диване, а сам поднялся по широкой лестнице на второй этаж.

Перед кабинетом директора за столом сидели две дамочки в беленьких кофточках и оживленно болтали. Я подождал минуту, потом еще две. Наконец одна холодно посмотрела на меня и спросила, что мне нужно. Я ответил, что должен повидаться с директором.

— По какому делу?

Я объяснил, что хочу предложить исполнителя, певца.

— По этим вопросам директор не принимает.

— Но у меня прекрасный певец...

Интересно, что, когда она разговаривала с подругой, лицо ее было приятным и даже красивым. Но стоило ей повернуться ко мне, как оно сделалось злым и холодным, как ледяная скала.

— Ну, чего вам еще? Я вам говорю: мы никогда не прослушиваем певцов. К нам приходят уже с именами.

Что делать? Я набрался решимости, быстро прошел мимо стола и открыл обшитую кожей дверь в кабинет.

Удивительный человек был этот Чезаре Анджелис, доложу я вам. Ни секунды он не мог посидеть спокойно.

Я начал поспешно рассказывать ему про Джулио, а он по-минутно поправлял что-нибудь на столе, переключивал с места на место карандашники или календари, вскакивал, бежал к окну задернуть штору, садился и сразу опять поднимался, чтобы ту же самую штору вернуть на прежнее место. И при этом совсем не смотрел на меня. Ни разу даже не взглянул.

Затем он вдруг остановился, глядя в окно.

— Как фамилия вашего певца?

— Я уже говорил вам — его зовут Джулио Фератерра.

— Но я не знаю такого.

— Да вы никак и не можете знать. Я же объяснил вам, что он только недавно...

Но Анджелис не дал мне договорить.

— Послушайте, сор («сор» — это сокращенное «синьор». Так говорят в городе). Послушайте, сор, у вас лицо умного человека. Вы знаете, сколько людей в Италии воображают, что они поют не хуже Карузо? Миллион. Но мы не можем их слушать. Нам нужны имена. Понимаете, к нам приходят имена, а потом уже мы спрашиваем, как они поют. Идите.

— Как «идите»? И вы не будете прослушивать моего певца?

— Ни за что.

Черт возьми! Я встал с кресла, выбежал из кабинета, спустился вниз и поднял Джулио с дивана.

— Пой!

— Где? Здесь?

— Да, прямо здесь. Они не хотят нас слушать.

Он посмотрел на меня. Его усталое лицо еще больше обострилось. Он встал, вышел на середину фойе, оперся на пальочку, набрал в грудь воздуха и запел.

Синьор, такие минуты стоят целой жизни. Джулио пел Элеазара из оперы «Дочь кардинала». Мне кажется, Галеви создал эту прекрасную арию, чтобы тут же, мимоходом, намекнуть и на удивительные возможности речитатива. Вы помните, она начинается мерными, как бы раскачивающимися ритмами и будто бы не представляет трудностей, не обещает той певучести, которая заключена во второй ее части. Но потом, потом...

Он запел, и мощный звук его голоса поднялся сразу до стеклянной крыши фойе — туда, на третий этаж, — и вернулся, многократно отраженный.

«Рахиль, ты мне дана небесным провиденьем...»

Он пел, и на лестнице остановилось движение. Кто бежал, шел, спускался или поднимался — все остановилось и прислушалось. Потом они стали подходить к перилам, перевешиваться и молча смотреть вниз на Джулио.

Ария большая. Он спел ее, воцарилась тишина. И Джулио сразу начал арию герцога из «Риголетто». Понимаете, какие разные вещи: Элеазар — это драматический тенор, а герцог — тенор лирический, причем самый высокий, светлый.

Я уже говорил вам о вставном «ля» в песенке герцога. Другие певцы обычно не задерживаются на ней, проходят, едва скользнув. Только в вашей России Козловский мог даже филлировать на ней. И представьте себе, Джулио, с которым мы несколько раз по радио слышали Козловского, решил здесь, в фойе, повторить его. Он взял это «ля», довел его до forte, так что оно как бы иглой пронзило все здание снизу вверх, а потом ослабил до piano, пустив по самому низу, по полу.

Джулио кончил. Миг безмолвия, а затем шторм аплодисментов. Буря! Все-все на лестнице побросали кто что нес, освободили руки и хлопали, хлопали... А по ступенькам уже бежали Чезаре Анджелис и обе дамочки в кофточках с такими улыбками, с таким восторгом на лицах!

Короче говоря, синьор, был заключен контракт на три выступления. Уже позже, в автобусе, мы поняли, что нас обокрали, так как Джулио получал за вечер лишь по тридцать тысяч лир — столько платят маляру за побелку квартиры. Но нас это не особенно огорчило в тот момент. Главное — мы были признаны!

Нечто очень серьезное между тем ожидало нас здесь. Когда мы примчались к дому Джулио, торопясь рассказать его родным и Катерине об успехе, нам показали телеграмму от бельгийца. Хирург приехал в Рим и вызвал Джулио к себе.

Синьор, пока я рассказывал о том, как Джулио учился петь, я мало говорил о бельгийце, и вам могло показаться, что мы вовсе забыли о нем. Это не так. Мы постоянно помнили об Алляре, и у нас было такое чувство, будто у него взят аванс и расплачиваться придется очень дорого. Как если бы Джулио продал душу дьяволу, который не преминет унести ее в ад.

Вы назовете это неблагодарностью. Между тем Джулио чувствовал благодарность к врачу, но к ней примешивалось и другое. Какой-то страх, что ли. Во-первых, из-за странного характера самой операции. У парня был теперь голос, но в то же время голос как бы и не его. Словно этот голос достался ему случайно, как выигрыш в лотерее.

И во-вторых — личность самого Алляра. В этом человеке было нечто даже не злое, а просто бездушное. Позже мне пришлось встретиться с ним, и я заметил одну его особенность. Начиная с кем-нибудь разговаривать, бельгиец как бы обезличивал этого человека, вынимал из него индивидуальность и отбрасывал в сторону. Для него люди были не людьми, а пациентами, шоферами, официантами, миллионерами или бедняками. И Джулио для него был не талантливым парнем из нашего Монте Кастро, а просто живым материалом для опыта.

Короче, я почувствовал в тот вечер, что Джулио испугался вызова. Мы принесли вина, Катерина собрала на стол, она вся сияла оживлением и радостью. У дверей и во дворе толпились те, кто не поместился в доме, — ждали, что Джулио будет еще петь. А он сидел задумчивый и сосредоточенный на своих мыслях.

Он мало рассказывал потом об этом свидании. Алляр встретил его в той же клинике на Аппиевой дороге. Джулио прошел самый тщательный медицинский осмотр, в котором участвовало около десяти врачей. Было составлено несколько протоколов. Затем бельгиец сказал, что Джулио должен будет выступить перед людьми, которых специально для этого пригласят в театр Буонделмонте, и они расстались. Алляр даже не попросил парня спеть. Его удовлетворило то, что он узнал о будущих выступлениях у братьев Анджелис.

Не стану рассказывать вам, как прошел этот первый концерт на Виа Агата. Хотя публика собралась случайная, но успех был. Успех настолько разительный, что он позволил владельцам театра устроить ловкую штуку. Они повесили в кассах и опубликовали в газетах объявление, что билеты на второй концерт будут стоить в десять раз дороже, чем на первый, а билеты на третий, последний, — в десять раз дороже, чем на второй. Сразу поднялся ажиотаж, часть билетов была припрятана, и всюду развернулась спекуляция.

Мы с Катериной слушали концерт из зала. Уже не я аккомпанировал Джулио, а некий Пранцелле, профессор из консерватории, — его назначили в театре.

Когда все кончилось, мы хотели пройти в уборную к Джулио. Но комната и коридор возле нее были полны самоуверенными, хорошо одетыми мужчинами и изящными дамами в дорогих платьях. Все они были молоды или казались молодыми. Мне вдруг стало неловко за свои шестьдесят лет и морщины на лице, за потрепанный, вытертый костюм. И Катерина, я заметил, застыдилась своих обнаженных сильных рук, загорелой шеи и всего того, что в Монте Кастро было красивым, а здесь выглядело грубым и простым.

Мы постояли в коридоре, не вмешиваясь в толпу, потом какой-то служитель театра спросил, что мы тут делаем, и мы вышли на улицу. Было совсем темно, моросил дождь, далеко за насыпью на Виа Агата сияли огни стадиона «Форо Италико» — там шла какая-то игра. А здесь, у театра, было пусто и тихо, зрители уже разошлись. На полотняных щитах повсюду чернели буквы: «Фератерра! Фератерра!»

Мы стояли и ждали Джулио. Мы молчали с Катериной, и почему-то мне казалось, что кончился первый акт какой-то драмы и теперь начнется второй...

Синьор, даже внешний вид нашего сонного Монте Кастро сразу изменился после этого концерта. Ежедневно наезжали корреспонденты из Рима, незнакомые люди на улице перестали быть редкостью. По вечерам на почту приходили столичные газеты, и чуть ли не в каждой писалось: «Загадка из Монте Кастро», «Тайна Монте Кастро», «Звезда из Монте Кастро...»

Сперва мы с Джулио еще занимались некоторое время, но, честно говоря, мне уже нечего было ему дать. Напротив, я мог бы и сам узнать от него многое. Совершенно самостоятельно он научился во время пения дышать грудью,

а не животом, атаковать звук, пользуясь и грудным и головным регистрами. Техника пения сама шла к нему, она естественно возникала из потребностей выразительности.

Потом, в начале февраля, в Монте Кастро приехал Алляр и остановился на вилле Буондельмонте. Он взял Джулио к себе и поселил в охотничьем домике, который снял у молодого графа. Пока Джулио проходил особый курс лечения, чтобы избавиться от хромоты, сам хирург списывался с теми любителями пения, с которыми познакомился на последнем «концерте Буондельмонте». Он писал богатым людям, миллионерам, и звал их приехать в Монте Кастро послушать нового великого певца.

Так минули два месяца, и я редко видел Джулио. Почему-то, синьор, он стал удивительно красивым. Можно было залюбоваться им, когда он в своем черном изящном костюме медленно шел по улице. Он так и остался бледным, но это была уже не малокровная бледность, как после операции, — нет, бледность напряженной умственной работы, бледность решимости и внутренней силы. Он был молчалив, только на миг оживлялся, когда к нему обращались, лицо его озарялось улыбкой, и затем он снова впадал в задумчивость.

А талант его между тем рос. Лишь один раз за все это время он спел вечером в нашем маленьком кружке, и мы были потрясены. Это было уже не то, что в моей парикмахерской, и не то даже, что на концерте в Риме. Голос его темнел и наполнялся содержанием. Это трудно объяснить и воспринимается лишь ухом, вернее даже — сердцем. Но раньше, когда Джулио пел тенором, у него был светлый тенор, теперь же он стал темным и знойным. Этот голос жег вас. Но не открытым огнем, как может обжечь фальцет, например, а мощью внутреннего жара. Мощью, которая сразу забирает тебя всего.

Интересно, что о его голосе можно было судить даже, когда он не пел, а просто разговаривал. Стоило Джулио произнести несколько слов, и вас уже покоряли интонированность и задушевность его речи. Мы все говорим некрасиво, синьор, и сами этого не замечаем. Мы привыкли. Слова служат у нас для передачи друг другу мыслей. А если нам надо выразить какое-то чувство, мы опять-таки достигаем этого не тональностью речи, а подбором слов. Джулио же не только передавал мысли — благодаря своему голосу он окрашивал каждое слово, расширял его содержание и приносил вам целый рой новых образов и чувств...

Но так или иначе время шло, в Рим и на виллу Буондельмонте съезжались те, кого пригласил Алляр. И настал, наконец, день, когда Джулио должен был выступить перед избранной публикой. День, который должен был принести славу бельгийцу.

Собралось много народу, синьор. Но если вдуматься, это не покажется удивительным. Для богатого человека, чье время расходуется между завтраками и обедами, поездками на яхте и кутежами, серьезный концерт — какая-то видимость дела. И чем больше расходы, тем сильнее в богаче

уверенность, что он не просто развлекается, но поддерживает искусство и даже участвует в процессе его созидания.

Сначала хотели устроить прослушивание в репетиционном зале, вмещающем человек двадцать. Но собралось около сорока, концерт перенесли в главный зал, и публика заполнила там целых три ряда.

Анкомпаниатор — тот самый Пранцелле — сел за инструмент. Алляр со своим ассистентом заняли места в первом ряду, а мы, то есть Катерина, я с женой и еще несколько горожан, устроились за кулисами.

И вышел Джулио.

Синьор, вам может показаться странным, но в те мгновения, пока Джулио шел к роялю, я вдруг почувствовал, что идея бельгийца ложна — никакая операция не может дать человеку голос (хотя голос у Джулио теперь был и появился именно после операции. Тут, конечно, противоречие, но позже вы поймете, что я хотел сказать).

Надо было видеть, как Джулио вышел тогда из-за кулис, как он подошел к роялю и посмотрел на публику. Он появился, прямой, бледный, чуть прихрамывающий. Какое-то удивительное обаяние исходило от него, токи прошли между ним и собравшимися, все лица стали серьезными, умолкли шорохи и разговоры, и разом установилась тишина. Это было как гипноз, синьор. Джулио очаровывал и возвышал людей. Конечно, слушатели ожидали необыкновенного — ведь некоторые даже приехали сюда из-за океана. Конечно, все читали в газетах о «Тайне Монте Кастро», о «Загадке Монте Кастро». Но дело было еще и в поразительном артистизме Джулио, в его удивительной сумрачной красоте. Женщины — и молодые и старые — просто не могли оторваться от него, пожирали его глазами, и я заметил, что Катерина рядом со мной побледнела так, что было заметно даже под загаром, и закусил губу.

Начался концерт. Джулио исполнил несколько вещей, встреченных восторженными овациями. Затем на сцену поднялся бельгиец и сказал, что голос, который все только что слышали, дивный голос Джулио Фератерра получен с помощью операции, выполненной им, Алляром. После этого ассистент бельгийца прочел несколько документов — заявление самого Джулио, протоколы врачей и свидетельство мэра нашего Монте Кастро о том, что прежде, до операции, у Джулио не было никаких способностей к пению. Далее бельгиец кратко рассказал о научных основах своего открытия и заявил, что за известное вознаграждение может каждого желающего наградить таким же голосом, если не лучшим...

Синьор, скажите, как вам кажется, сколько миллионеров пожелало пойти на операцию?.. Вы правы, синьор. Ни одного. Ни единого человека. Это поражает, но если вдуматься, именно такого исхода и следовало ожидать. Ошибка бельгийского хирурга состояла в том, что он не учел потребительской психологии богачей.

Пока Алляр рассказывал, как он пришел к своей мысли и как делал операцию, его слушали с некоторым интересом.

Правда, главным образом мужчины. Женщины же во все глаза смотрели на Джулио, которого бельгиец почему-то оставил на сцене. Они смотрели на него, сидевшего с потупленными глазами, и у нескольких американок было такое выражение, какое бывает у детей, когда они ждут, что вот-вот кончатся нудные разговоры взрослых и можно будет схватить желанную игрушку.

Но когда Алляр предложил записываться у него на операцию, его сразу перестали слушать. Из-за кулис мне был хорошо виден зал, и, клянусь вам, все лица вдруг стали пустыми. И даже враждебными. Как будто бельгиец оскорбил их. Понимаете, они готовы были аплодировать Джулио за его божественное пение и платить огромные деньги за право его слушать. Они готовы были превозносить до небес и самого Аллара. Но мысль о том, что они сами могут лечь на операционный стол, казалась им крайне неуместной и даже обидной.

Богач готов платить за искусство. И очень дорого. Но лишь деньгами. А тут от них требовали не только денег...

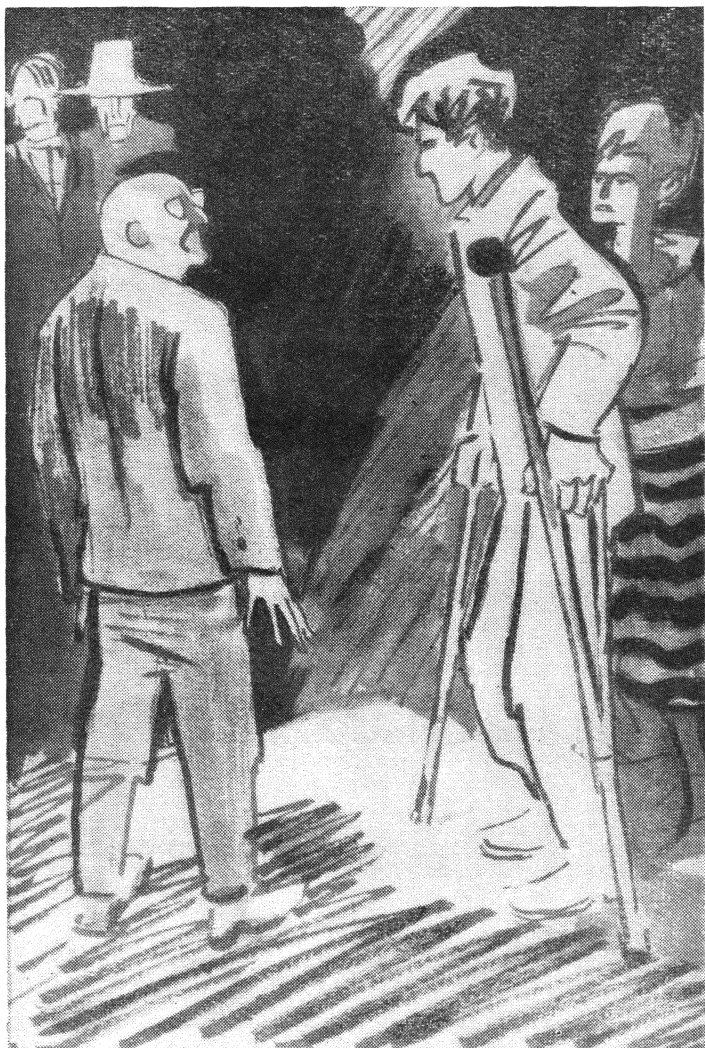
Минуты шли за минутами. Алляр, коренастый, холодный, решительный, стоял на сцене и ждал отклика. И, наверное, ему постепенно становилось ясно, что его план рухнет. Какой-то полный молодой мужчина поднялся с места. Нам показалось: он хочет согласиться на операцию. Но он, что-то бормоча себе под нос, стал пробираться между кресел к выходу. В зале зашумел говор, еще одна парочка встала. Какая-то женщина лет сорока в свитере тигриной расцветки подошла к самой сцене и стала в упор рассматривать Джулио. Глаза ее были широко раскрыты, на лице написано восхищение, и она ничуть не стеснялась. Она что-то сказала по-английски, но Джулио продолжал сидеть, опустив голову.

А ведь это были «знатоки и ценители музыки» — те, кто раз в пять лет съезжался к нам на «концерты Буондельмонте».

Тогда бельгиец, чтобы как-то спасти положение, объявил, что все могут подумать до завтра. Завтра состоится еще концерт, после которого он, Алляр, будет ждать в своей комнате желающих. Вся толпа приезжих тотчас было кинулась на сцену к Джулио. Я даже не понял зачем — то ли затем, чтобы поздравить, то ли — чтобы просто до него дотронуться. Но он сразу поднялся, ушел к нам за кулисы, и мы все отправились домой.

А на следующий день повторилась та же история: бешеные аплодисменты после каждой арии — и гробовая тишина, когда концерт кончился. И уже двумя часами позже выставка роскошных автомобилей у парка Буондельмонте стала рассасываться. Один за другим «ягуары», «крейслеры», «понтиаки» брали направление на Рим и навсегда исчезали из наших глаз.

Таким образом, замысел бельгийца потерпел крах, крупные деньги, вложенные им в организацию концерта, снова пропали даром. Позже служители на вилле рассказывали, что бельгиец всю ночь один ходил по саду, он так и не прилег, а утром сел в машину и уехал.



Хирург внушал нам страх, и хотелось верить, что он оставит Джулио в покое. Но мы понимали, что надеяться на это нельзя. В Алляре было что-то от Мефистофеля, и всякое дело он доводил до конца — хорошего или плохого, все равно.

Несколько дней затем Джулио провел дома, и, скажу вам, это были лучшие дни. Каждый вечер он пел для нас прямо на площади перед остерией. А если с утра небо бледнело и начинала дуть трамонтана, концерт устраивали внутри, в помещении. Одни сидели за столиками, другие — на столиках, третьи стояли на полу, засыпанном опилками. Счастливые часы, синьор. Мы все переменялись в Монте Кастро. С утра, садясь за свой верстак, спускаясь в лавчонку или выходя в поле, каждый знал, что вечером он услышит Джулио. И мы стали лучше, чище, благороднее. Кто был озлоблен, смягчился, прекратились ссоры между мужьями и женами. Мы научились по-новому ценить и понимать друг друга.

Потом Джулио получил вызов от братьев Анджелис и уехал в Рим репетировать свою программу.

На втором концерте в театре я не был. Скажу только о двух характерных вещах, о которых мне рассказывала Катерина. Когда Джулио начал петь и спел свою первую вещь — арию Шенье из одноименной оперы, — зал не аплодировал. Вы понимаете, он спел, и ни одного хлопка, ни звука. Гробовая тишина. И Катерина, и моя жена, и, наверное, владельцы театра подумали, что певец провалился, хотя он спел блистательно. Но дело было не в этом. Просто слушатели были ошеломлены. Ждали многого, но никто не ожидал такого. Это было как откровение. Так сильно, так пленительно и вместе мужественно, что казалось святотатством нарушить безмолвие, в котором отголоском еще звучала заключительная нота... Никто не решался хлопнуть, и в этой напряженной страшной тишине Джулио, испуганный, с искаженным лицом, подал Пранцелле знак начинать следующую вещь.

Когда зал уже пришел в себя и после каждой арии разражался бурей оваций, Джулио однажды, в самый разгар неистового шума и криков, обратился к аккомпаниатору. Так вот, едва он открыл рот, зал умолк. Огромный зал, весь сразу. Люди подумали, что он начинает петь, и инстинктивно замолкли, застыли.

И все это было, когда публика уже знала, что у Джулио сделанный, как бы не свой голос. Притом, что в нескольких газетах Алляр уже дал объявление, что может каждому сделать такой же тенор, как у Джулио Фератерра.

Тогда, в тот же вечер, Марио дель Монако и поднес Джулио букет цветов. Вам, наверное, попадалась эта знаменитая фотография. Ее перепечатали по всему миру. Марио дель Монако поднялся на сцену, обнял Джулио, поцеловал и вручил ему огромный букет красных роз. Зал стоя рукоплескал им, наверное, с четверть часа. Не удивительно. У меня даже выступили на глазах слезы, когда я услышал об этом.

Катерина рассказала мне все, но конец был печальным. На следующий день после концерта Джулио по требованию Алляра снова лег в клинику на Аппиевой дороге. Зачем? И я задавал себе тот же вопрос. Джулио бельгиец объяснил, что хочет исследовать его. Общее состояние, деятельность

высшей нервной системы и всякие такие вещи. Ну что же, исследовать так исследовать. Но мы боялись другого...

Синьор, я забыл вам сказать, что когда Алляр второй раз приехал в Монте Кастро, ему не давали прохода те, кто тоже хотел получить голос путем операции. Люди готовы были отдать себя чуть ли не в рабство. Бедняки, естественно. И позже, в Риме, после этих объявлений в газетах, толпа несколько раз штурмом брала дом, где остановился хирург, так что ему пришлось переехать и скрываться. Но опять-таки толпа бедняков. А из богачей, из тех, кто посещал «концерты Буондельмонте», не было никого.

Тогда Алляр заметался. Еще два раза он устраивал маленькие закрытые частные концерты в особняках района Париоли. Но и там с удовольствием слушали Джулио, оставаясь глухими к предложению бельгийца. Вообще хирург мог бы действовать и по-другому — просто создавать певцов и эксплуатировать их голос. Но он был не такой человек — Алляр. Он мечтал о клинике, где он каждый день будет делать операцию кому-нибудь из миллионеров и присоединять к своему счету в банке новую огромную сумму. Только так. И другого он не хотел. Он не был стеснен в деньгах и мог не размениваться на мелочи. Когда я узнал, что Джулио опять в клинике, сравнение с дьяволом, купившим душу человека, снова пришло мне на ум, и мне стало страшно.

Катерина страшилась еще больше. И вообще, синьор, ей было трудно все это время, пока Джулио учился петь и так решительно шел к славе. Хотя прежде они не то чтобы считались женихом и невестой, но в городке привыкли видеть их вместе. Затем появился Алляр, Джулио вернулся из Рима на костылях. По тому, как девушка взялась помогать ему и семье, можно было судить, что дело идет к свадьбе. На самом же деле никакой договоренности не было, и, напротив, Джулио стал отдаляться от Катерины. Об их будущем он не говорил, она же была слишком горда, чтобы спрашивать. Он начал подолгу жить не дома — то в Риме, то на вилле Буондельмонте, его окружали богатые люди, и дерзкие женщины, не стесняясь, высказывали свое восхищение его трагической красотой.

Можно было приписать его нерешительность тому, что он все еще чувствовал себя инвалидом, боялся возвращения паралича и не хотел связывать Катерину, но можно было толковать все и по-другому. Одним словом, это еще добавляло мук девушке, когда мы ждали вестей с Аппиевой дороги.

Джулио пролежал в клинике месяц, и лишь иногда его отпускали в театр для репетиций. Приближался день последнего концерта на Виа Агата. Корреспонденты приезжали в клинику, их не принимали, приезжали к нам, и мы тоже ничего не могли сказать. В газетах стали мелькать заметки, что эксперимент не удался, что Джулио теряет голос и не сможет выступить. Но владельцы театра не собирались возвращать деньги за билеты — они, наоборот, объявили, что концерт будет транслироваться по радио и телевидению.

Дважды Катерина ездила в Рим, но в клинику ее не пускали, и она только получала записки, что Джулио чувствует себя хорошо и просит не беспокоиться.

Мы уже не думали, что попадем в театр, но в день концерта из Рима приехал курьер с двумя билетами — Катерине и мне. Нам пришлось очень торопиться, чтобы не пропустить подходящий автобус, но мы успели к самому началу. На улице меня встретил директор Чезаре Анджелис и сказал, что Джулио хочет меня видеть. Меня одного.

Мы поднялись на второй этаж, где у них расположены артистические уборные, директор довел меня до нужной двери и ушел. В коридоре было пусто, Джулио приказал никого из публики не пускать.

Я постоял один. Было тихо. Снизу чуть слышно доносились звуки скрипок — там оркестранты настраивали инструменты. (На этот раз Джулио пел в сопровождении оркестра.) Я постучал, в комнате послышались шаги. Дверь открылась, вышел Джулио, обнял меня и провел к себе. Он очень похудел, лицо его было усталым, и вместе с тем в нем появилась удивительная, даже какая-то ранящая мягкость и доброта. Мы сели. Он спросил, как Катерина и его родные. Я ответил, что хорошо. Потом мы помолчали. Не знаю отчего, но вид его был очень трогателен. Так трогателен, что хотелось плакать, хотелось сказать ему, как все мы любим его. Хотелось объяснить, что мы все понимаем то тяжкое и двойственное положение, в которое он попал, владея голосом, который в то же время как бы и не его голос. Но, конечно, я ничего не сказал, а просто сидел и смотрел на него.

Прозвучал первый звонок, затем второй и сразу за ним третий. Я не решился напомнить ему, что пора на сцену, а он все сидел задумавшись. Потом он встряхнулся, встал и сказал, глядя мне прямо в глаза:

— Завтра я ложусь на операцию.

— На операцию?..

— Да. Скажи об этом нашим. Алляр хочет сделать мне еще одну операцию.

— Зачем?

Он пожал плечами.

— Не знаю... Говорит, что хочет расширить мне диапазон до пяти октав.

Проклятье! Я забегал по комнате.

— Не ложись ни в коем случае. Зачем это тебе? А вдруг операция будет неудачной! Это же опасно. И никто тебя не может заставить.

— Но у меня договор. По договору, если Алляр сочтет нужным, он может сделать мне повторную операцию.

Я стал говорить, что такие договоры незаконны, что любой судья признает этот пункт недействительным. Но он покачал головой. И вы знаете, что он мне сказал?

Он сказал:

— Я должен. Но не из-за договора. Я не верю, что Алляр дал мне голос.

Мы уже стояли в коридоре. Он был пуст. Почему-то мне

показалось, что жизнь так же длинна, как этот коридор, и очень трудно пройти ее всю до конца...

Гром оваций встретил Джулио, когда он появился из-за кулис. Аплодисменты длились бы, наверно, минут десять, но Джулио решительно вышел на авансцену и дал знак оркестру. Дирижер взмахнул палочкой, и полились звуки «Тоски».

Синьор, ария Каварадосси считается запетой, но Джулио взял ее нарочно для начала концерта, чтобы показать, как ее можно исполнить. Возник чистый-чистый голос, и зал весь разом вздохнул. А голос лился все шире и шире, свободнее и выше, он заполнял все: сцену, оркестровую яму, партер, все здание, улицу, город, мир. Голос лился в наши души и искал там красоту и правду и находил их. И когда казалось, что она уже вся найдена и исчерпана, он находил ее все больше, и это было даже больно, даже ранило. Голос ширился, шел все выше, открывались удивленные глаза, открывались сердца, вселенная раскрывалась перед нами. Голос плакал, просил, угрожал, он насылал дрожь в наши сердца и ужасал приходом рока, предчувствием непоправимого. Голос звал, поднимал нас, и был уже произнесен приговор всему злumu и неправому, и чудилось, что если еще миг продлится, провисит в воздухе этот дивный звук, уже невозможно будет жить так, как мы живем, и радость и счастье воцарятся на земле. И голос длился этот миг, и мы понимали, что счастье еще не пришло, что надо его добыть, бороться за него. Мы вздыхали и оглядывали друг друга новыми глазами...

Синьор, я мог бы часами говорить о последнем концерте Джулио Фератерра. Но слова падают и не могут выразить невыразимого. Концерт слушали на Виа Агата. В Риме люди сидели у телевизоров и приемников. В тот вечер Джулио слушала вся Италия.

После концерта Джулио отправился в клинику, и бельгиец сделал ему вторую операцию.

Синьор, я заканчиваю, мне уже мало что остается рассказать. Джулио вернулся в Монте Кастро через шесть недель. Приехал из Рима, никого не предупредив, и пошел к себе домой. Кто-то сказал мне о его приезде, и я побежал к нему. Я увидел сначала только его спину — он возле сарая приделывал ручку к серпу. Он был согнут, как рыболовный крючок, а когда повернулся, я увидел, что лицо его постарело на несколько лет.

Я поздоровался. Он ответил, но я его не услышал. У него совсем не было голоса, он мог только шептать. Неосторожным, а быть может, и намеренно грубым движением бельгиец разрушил то, чему первая операция дала выход.

Джулио был очень спокоен и молчалив, но это было спокойствие механизма. Ему не хотелось жить. Почти невозможно было заставить его рассмеяться, улыбнуться, захотеть увидеть кого-то. Сначала возле их домика дежурили автомобили, и Джулио приходилось целыми днями прятаться

от журналистов. Но довольно скоро, через месяц-полтора, его забыли в столице, и он смог вернуться к тому, что делал раньше, — работать на огороде, в поле и в чужих садах.

Я думаю, синьор, вы догадались, кто вернул его к жизни. Конечно, Катерина. Эта девчонка взяла да и женила его на себе. В один прекрасный день явилась к ним в дом с двумя своими узлами, разгородила единственную комнату занавеской, справила документы в мэрии и потащила его в церковь. А потом так плясала на свадьбе, что и мертвый пробудился бы!

На этом можно бы и закончить нашу историю, синьор, но остается еще вопрос. Важный вопрос, для выяснения которого я, собственно, и стал вам рассказывать о Джулио Фератерра.

Синьор, дорогой мой, как вы считаете, мог ли бельгийский врач действительно дать Джулио голос? И неужели мир уж настолько несправедлив, настолько устроен в пользу богачей, что даже талант можно продать и купить за деньги?

Вот здесь-то мы и подходим к самому главному.

На первый взгляд дело выглядит просто. До встречи с Алляром у Джулио не было голоса, и он не мог петь. После операции голос явился, и Джулио Фератерра стал великим певцом. Но что же сделал своим ножом хирург? Да почти ничего — вот что я скажу вам!

Разве на кончике его ножа лежали нежность и артистизм, обаяние и страсть, которые пели в голосе Джулио?

Нет, и тысячу раз нет!

Я много думал об этом и понял, что бельгиец не дал Джулио голоса. Бесь его план разбогатеть, продавая голос, был заранее обречен на неудачу. Чтобы все понять, мы должны снова вернуться к вопросу, что же такое талант певца, художника или поэта.

Талант, синьор, не есть, как думают некоторые, случайный приз, вручаемый природой. Рассуждениями о том, что он зависит от числа нервных клеток либо извилин мозга, люди бесталанные прикрывают свою зависть и леность ума. Гений — это вполне человеческое, а не медицинское понятие. Талант рождается воспитанием, тем, как прожита жизнь, средой, страной и эпохой. И хирургия тут бессильна.

Скажу вам точнее: талант каждого отдельного человека создается огромным множеством людей. Шопен невозможен без Бетховена, а тот, в свою очередь, — без Баха и Люлли с его контрапунктом. Но Шопен невозможен и без Польши, израненной в те времена русскими царями, без польских лесов, рек, где в фиолетовых сумерках плавают его русалки, без польских крестьян, польских художников и композиторов. Другими словами, гений есть нечто вроде копилки, в которую все люди постепенно вкладывают взносы доброго. И талант осуществляется лишь в той мере, в какой творец искусства способен воспринимать и отдавать это доброе. Гении понимают это, потому они скромны, свободны от кичливости и сознают, что то, что движет их пером, кистью или смычком, принадлежит не им, а всем.

Талант — это выраженная способами искусства любовь к людям. А наш Джулио как раз и был добр.


Он был хорошим парнем, я говорил вам. Но что же в наших условиях означает «быть хорошим парнем»? Я не стану жаловаться, я презираю это. Но взгляните, как мы живем. Посмотрите на наши лохмотья, на пропыленные улицы городка, на лица безработных на площади. Сейчас кое-кто говорит об «экономическом чуде», и в газетах печатают цифры, показывающие, насколько вырос национальный доход страны. Но этот подъем не доходит до нас, и мы живем так же, как тридцать лет назад. Так вот, каким же человеком надо быть, чтобы в этих условиях оставаться хорошим парнем, веселым, общительным, обязательным, улыбаться и сохранять душевную гармонию?

Джулио был добр и, кроме того, горячо любил музыку. Он родился в певучей стране, с детства музыка была вокруг него, в наших разговорах. Она пела у него в душе, внутри, и когда явился Алляр, ему довольно было лишь коснуться, чтобы вызвать ее наружу. Хирург не дал голоса Джулио, а только открыл его. Случай натолкнул Аллара на великого артиста, который был закрыт для людей. И хирург, сам того не понимая, лишь исправил ножом ошибку природы и дал выход тому, что и прежде жило в душе Джулио.

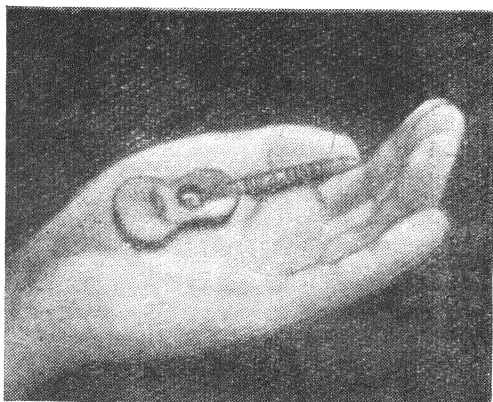
Одним словом, идея Аллара — награждать голосом за деньги — была ложной. Он ничего не мог бы дать тому, у кого внутри пусто и черно.

...Что вы говорите? Джулио? Да ничего. После свадьбы он в общем-то начал поправляться. Немного выпрямился, в глазах появился блеск. Теперь работает на тракторе в поместье Буондельмонте. А недавно у него появилось еще занятие.

Вы знаете, это счастье нашего городка — у нас снова светит солнце таланта. Здесь живет мальчик, сынишка одного бедняка инвалида. Ему всего тринадцать лет, и он разносчик в мелочной лавке. И у него голос, синьор. Удивительный, дивный, божественный голос. Его зовут Кармело, и теперь Джулио учит его петь. Но голос как у соловья... Да вот он бежит со своей корзинкой!.. Кармело! Эй, Кармело, иди сюда! Иди скорее... Вот этот синьор хочет послушать, как ты поешь. Он приехал из Советского Союза. Спой нам, Кармело. Ну, пой же, мой мальчик, мой любимый! Пой...



ИЗ БЛОКНОТА ИСКАТЕЛЯ



ТАЛАНТЛИВЫЕ РУКИ

Чисто, мелодично звучат струны гитары... Это не казалось бы удивительным, если бы сам музыкальный инструмент не был во много раз меньше обычного. Видите, гитара вся уместается на ладони!

Игрушка? Нет. Ведь гитара-малютка настоящая. В ней полностью соблюдены все необходимые пропорции. Материал, из которого она сделана, тщательно подобран: верхняя доска еловая, нижняя из клена, а гриф из черного дерева.

Но, пожалуй, самое удиви-

тельное—мастерство, с которым выполнена эта уникальная работа. Каждая деталь обрабатывалась под микроскопом с точностью до одной десятой миллиметра. А какая необыкновенная точность и скрупулезность нужны были мастеру, чтоб из таких микроскопических деталей собрать инструмент!

Сделал это талантливый чешский умелец Виттир. Сам он говорит о своей работе: «Терпение, аккуратность — только и всего!»

ЛУНА И КНИГИ

Уже недалеко то время, когда первый человек ступит на поверхность Луны... Сколько раз писали об этом фантасты!

Но в самом деле, сколько? Подсчитать трудно: романов, повестей и рассказов о полете на Луну — разумеется, фантастических — написано множество.

Начнем с русских писателей.

В конце прошлого века в России был издан фантастический роман писателя А. Соколова «На Луне». В романе рассказывалось, как русский профессор вместе с товарищами достиг поверхности естественного спутника Земли и вел там исследования.

В 1898 году с научно-фантастической повестью, которая называлась так же, «На Луне», выступил К. Э. Циолковский. В трудах К. Э. Циолковского гармонично слились дерзновенные мечты и строгий, точный научный расчет. Идеи Циолковского вдохновляли многих писателей-фантастов.

Немало интересных книг, связанных с проблемой полета на Луну, написал профессор Н. А. Рынин, один из талантливых пропагандистов освоения космоса. Много лет посвятил этой проблеме и профессор Перельман, автор нескольких интересных книг, рассказывающих о будущих полетах на Луну.

А такая замечательная повесть как «Звезда КЭЦ» советского писателя-фантаста А. Беляева — о полете астронавтов с межпланетной станции на Луну... Перечисление это можно продолжить.

Но пороемся в библиотеках других стран — какие книги о полетах на Луну были написаны зарубежными фантастами?

Всем нам с детства известны книги Жюль Верна «Из пушки на Луну» и «Вокруг Луны», написанные в конце прошлого столетия. Но о романах «На Луне» и «Радомехтский карлик» другого французского писателя, Андре Лори, известно немногим. Книги эти вышли в 1903 году. В них рассказывается, как ученые с помощью специальных аппаратов пытались приблизить Луну к Земле...

Среди английских писателей, кроме Герберта Уэллса, опубликовавшего в 1908 году фантастический роман «Первые люди на Луне», космической теме посвящал свои произведения и Артур Конан-Дойль. «Долгая вахта» Хайнлайна и «Двое с Луны» Томаса — книги американских фантастов. Упомянем еще о романе «Лунный перелет» немецкого писателя Отто Вилли Гайля. Книжки «На серебряном шаре», «На Луне» (распространенное название, не правда ли?) и «Возвращение на старую Землю» принадлежат перу польского писателя Жулавского. С новой «лунной» повестью известного польского фантаста Станислава Лема читатель познакомился в предыдущем номере «Искателя». Лем пишет о Луне, если так можно выразиться, очень «реально»: вы ясно видите и лунные кратеры, и лунную пыль, хорошо представляете себе обстановку, в которой работают ученые...

Но первое совсем не фантастическое, а документально точное описание полета человека на Луну нам еще предстоит прочитать в недалеком будущем.



А. ТАРАСОВ

ИНТЕРЕСНЕЙШАЯ НАХОДКА

Следы истории... Их находят в пожелтевших от времени рукописях, в земле при археологических раскопках и даже под водой.

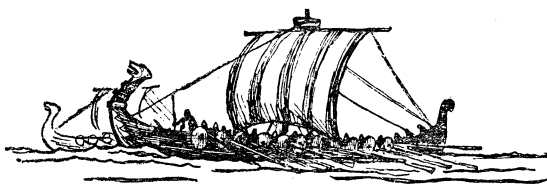
Есть в Дании, у острова Зеландия, фиорд Раскилле — суровые скалы, толща воды, такой прозрачной, что в безветренные дни можно хорошо рассмотреть дно. И тем не менее только один любознательный рыбак обратил внимание на остов полуразрушенного судна там, под водой... Увиденное показалось ему необычным.

Что было дальше? Рассказ рыбака заинтересовал археологов. И вот уже первые специалисты спускаются под воду, а потом к ним присоединяются добровольцы. Их много — ведь находка-то интереснейшая: обнаружено кладбище кораблей викингов! Они затопили свои суда, преграждая путь врагу. Было это больше тысячи лет назад, в 960 году...

Успешный поиск

При помощи специальной оптики профессору Дейчу из лаборатории электронной микроскопии при университете Грейфсвальда (ГДР) впервые в мире удалось получить фотографию молекулы белка. Фотоснимок подтверждает развиваемую некоторыми учеными теорию об «округлой» форме молекулы белка. До сих пор даже наиболее сильные электронные микроскопы фиксировали ее как «точку», структуру которой невозможно было установить.

Кессон, установленный на месте находок, позволил углубиться в грунт. Сейчас шесть древних кораблей освобождены от камней — балласта, и их с большими предосторожностями поднимают на поверхность.



СРОК

БЕЗ ДЕСЯТИ ЧАС

Он был лишь розовым талончиком на танец. К тому же использованным талончиком, порванным пополам. Два с половиной цента комиссионных с каждого десятицентового талончика. Пара ног, которая гнала ее через весь зал, через всю ночь. Он — ничто, ноль — мог заставить ее двигаться, куда хотел, пока не кончались его пять минут. Пять минут грохочущих, ревущих, барабнящих синкопов, подобных вихрю песка, бьющему в грудь пустых жестянок, там, на эстраде, где джаз. И внезапная, будто включенная рубильником, тишина и две-три секунды какой-то особенной глухоты. Несколько свободных вдохов и выдохов, пока твои ребра не обхвачены рукой ка-

Рисунки С. ПРУСОВА

кого-то чужого человека. И все сначала: еще один вихрь песка, еще один розовый талончик, еще одна пара ног, догоняющих твои, еще один ноль, заставляющий тебя двигаться туда, куда ему хочется.

Да, вот чем были для нее они все. Она так любит свою работу!.. Она так любит танцы!.. Особенно танцы за плату! Иногда она жалела, что не родилась хромой. Или глухой — тогда она

ИСТЕКАЕТ НА РАССВЕТЕ

не слышала бы тромбона, показывающего длинный нос потолку. Тогда она не попала бы сюда. Тогда она, наверное, стирала бы чьи-нибудь грязные рубашки в прачечной или мыла грязные тарелки в кухне какого-нибудь кафе. Какой смысл мечтать? Все равно ничего не получишь. Но чем это плохо — помечтать? Все равно ничего не потеряешь.

Во всем огромном городе у нее был только один друг. Он всегда оставался на месте. Он не танцевал — это первое, чем он был хорош. И он всегда рядом, каждую ночь, словно говорит: «Держись, девушка, тебе остался всего лишь один час! Ты выдержишь, ведь раньше ты выдерживала!» И немного погодя: «Держись крепче, девушка! Теперь всего тридцать минут осталось. Я работаю на тебя». И наконец: «Еще один круг, девушка! Всего лишь один круг. К тому времени, как ты снова увидишь меня, будет ровно час ночи».

Он говорил ей так каждый вечер. Он никогда ее не подводил. Он, единственный во всем Нью-Йорке, был на ее стороне. В ее бесконечных ночах он был единственным, у кого было сердце.

Она могла его видеть только из двух окон — тех, которые выходили на боковую улицу, — каждый раз, когда она подходила сюда по кругу. Окна всегда немного приоткрыты, чтобы проходил воздух и чтобы прохожие на тротуаре, внизу, слышали джаз: это может заманить кого-нибудь в дансинг. Перед остальными окнами высились здания, они мешали, а вот из двух крайних она видела своего друга. Он ласково смотрел на нее с высоты в узком просвете между домами. Иногда за его спиной была рассыпана горстка звезд. Звезды ей были ни к чему, а вот он помогал ей. Какой прок от звезд? Какой прок вообще от чего бы то ни было?

Он был довольно далеко, но у нее хорошее зрение. Он мягко мерцал на фоне тафтового занавеса неба. Светящийся круг с двенадцатью зарубками по внутренней стороне кольца. И две светящиеся стрелки. Стрелки, которые никогда не застревали, никогда не замирали, никогда не играли с ней злых шуток. Они работали на нее, все двигались и двигались — вперед и вперед дюйм за дюймом, чтобы освободить ее, выпустить отсюда. Это были часы, да, часы на башне Парамонт на противоположном

конце Нью-Йорка, на углу Седьмой авеню и Сорок третьей улицы. Часы были похожи на лицо, как и все часы. Но у них было лицо друга. Странный друг для стройной рыжеволосой девушки двадцати двух лет! Но именно он помогал. Смешно!..

Она видела своего друга и из комнатки, где жила, из окна меблированного дома, если вставала на стул и вытягивала шею, хотя оттуда еще дальше до часов. Но оттуда в бессонные ночи друг казался бесстрастным наблюдателем: ни «за» нее, ни «против». А здесь, в этом беличьем колесе, в этом круговороте — с восьми вечера до часу ночи, — он помогал ей.

Она с надеждой посмотрела на часы через плечо партнера, и они сказали ей: «Без десяти. Худшее позади. Ты стисни зубы — и не успеешь оглянуться...»

— Здесь довольно много народу...

Какой-то миг она не могла понять, откуда пришли эти слова, — настолько далеки были ее мысли от окружающего. Потом она сосредоточила свое внимание на ноле, который кружил ее в этот момент.

О, он еще и разговаривать хочет?! Ну, с этим она справится. Кстати, ему потребовалось больше времени, чем многим другим, чтоб решиться. Он танцевал с ней третий или четвертый раз подряд: ей показалось, что этот цвет костюма уже довольно долго находился перед ее отсутствующим взглядом. Хотя она не могла сказать с уверенностью: она никогда не прилагала усилий, чтоб отличить их одного от другого. Этот, наверное, молчаливый или застенчивый тип, потому и заговорил не сразу.

— Ды.

Короче она не сумела произнести этот слог. Она бы его тогда совсем проглотила.

Он попытался снова:

— Здесь всегда так много народу?

— Нет, после закрытия здесь пусто.

Ну и ладно, пусть он на нее так смотрит. Она не обязана быть с ним приветливой. Она обязана только танцевать с ним. Его десять центов оплачивали лишь работу ее ног, а не вокальные упражнения.

В зале притушили свет. Так всегда делали перед последним танцем. Выключали верхний свет, и танцующие фигуры двигались, как шаркающие привидения. Это должно размягчать посетителей, отправлять их на улицу с ощущением, что они провели время здесь, наверху, наедине с кем-то. И все — за десять центов и бумажный стаканчик лимонада...

Она почувствовала, что он немного откинул голову и пристально рассматривает ее, пытаясь понять, почему она такая. Она отвела взгляд. Пустыми глазами смотрела она — пристально, упорно — на сверкающие блестящие, бесконечно мелькающие по стенам и потолку. Их разбрасывал зеркальный шар, крутящийся под потолком.

Смотрит ей в лицо, чтоб узнать, почему она такая. Там он не найдет ответа. Почему бы ему тогда не заглянуть во все театральные агентства города, откуда еще не ушел ее призрак, напряженно сидящий спозаранку на первом от двери стуле? Там должен остаться ее дух — столько раз она бывала там! Или почему бы не заглянуть в артистические уборные низкопробного

кабаре на Ямайка-роуд — единственное место, где она получила работу, но должна была бросить ее раньше, чем начались репетиции ревю: она оказалась настолько глупа, что однажды согласилась на предложение директора задержаться позже других девушек. Почему бы не заглянуть в шелку автомата-закусочной на Сорок седьмой улице, в шелку, проглотившую в тот никогда не забываемый день ее последнюю монетку, — последнюю во всем мире. Автомат раскрылся и выдал две пухлые булочки; и с тех пор больше не раскрывался для нее, потому что у нее больше не было монеток. А она так часто стояла перед ним голодная! Почему бы прежде всего не заглянуть в старый, выдавший виды чемодан под кроватью в ее комнате? Он немного весит, но он полон. Полон заплесневевших, разбитых надежд, ни на что уже не годных.

Ответ можно найти там, а не на ее лице. Ведь лица — только маски.

Он снова попытал счастья:

— Я пришел сюда в первый раз.

Она не отрывала взгляда от серебряного блеска, хлеставшего по стенам.

— Мы без вас скучали...

— Вы, наверно, устаете танцевать к концу вечера?

Его чувство собственного достоинства требовало этого — объяснить ее грубость другой причиной, а не отношением к его личности.

Она знала, она знала, какие они все... На этот раз она посмотрела на него уничтожающим взглядом.

— О нет! Я никогда не устаю. Мне этих танцев недостаточно, даже наполовину. Дома ночью я упражняюсь в пируэтах...

Он мгновенно опустил глаза — удар попал в цель, — потом снова посмотрел на нее.

— Вы на что-то сердитесь, вот что.

Он произнес это не как вопрос, а как открытие.

— Да. На себя. — Он не хочет сдаваться! Неужели он не может понять намека, даже когда этот намек вколачивают кувалдой?

— Вам здесь не нравится?

Коронный вопрос всей серии неуместных замечаний, которые он неуклюже предлагал ей в качестве пищи для разговора!

Она почувствовала спазм в груди от ярости. За этим обязательно последовал бы взрыв. К счастью, необходимость отвечать была устранена: скрежет, грохот жестяных ведер оборвался на какой-то изломанной ноте; отблески зеркал исчезли со стен; зажглась центральная люстра; труба пропела мотив, известный в Бронксе как сигнал «По домам!». Навязанная интимность закончилась, десять центов отработаны.

Она уронила руку, лежавшую на его плече как нечто давно отмершее; и, делая это, она ухитрилась не грубо, но решительно убрать его руку со своей талии.

У нее вырвался вздох неопишуемого облегчения; она даже не пыталась скрыть его.

— Спокойной ночи. Мы уже закрываем.

Она повернулась, чтобы уйти, и почти сделала это, но ее задержало — на одно мгновение — его удивленное лицо; она

увидела, как он стал шарить в своих карманах и вытаскивать скомканные пачки билетов на танцы; он еле удерживал эту грудку в обеих руках.

— Господи, выходит мне не надо было покупать их столько!.. — сказал он разочарованно больше самому себе, чем ей.

— Вы собирались расположиться здесь лагерем на всю неделю? Сколько вы их купили?

— Не помню. Кажется, долларов на десять. — Он взглянул на нее. — Я просто хотел попасть сюда и даже...

— Вы просто хотели сюда попасть? — произнесла она насмешливо. — Сто танцев! Да у нас столько за вечер и не играют. — Она посмотрела на дверь, ведущую в фойе. — И не знаю, что можно сейчас сделать: кассир ушел домой. Вам не удастся получить деньги обратно.

Он все еще держал их, но вид у него был скорее беспомощный, чем огорченный.

— Мне и не нужно денег обратно.

— Билеты действительно и на другие дни.

— Не думаю, что я смогу прийти, — сказал он тихо и внешне протянул билеты ей. — Можете взять их. Ведь вы получаете проценты с тех, которые сдаете, правда?

На какой-то миг ее руки против воли потянулись к этой грудке. Но она тут же отпрянула и взглянула на него.

— Нет! — сказала она вызывающе. — Я не понимаю... Но все равно — не надо, спасибо.

— А мне они зачем? Я сюда никогда больше не приду. Уже лучше вы их возьмите.

Здесь было очень много комиссионных, к тому же очень легких комиссионных, но, наученная горьким опытом, она давно взяла за правило: никогда не уступать ни в чем и нигде, даже если и не видишь, к чему все это ведет. Если уступаешь в чем-нибудь, неважно в чем, потом ты уступаешь еще в чем-нибудь, потом — где-нибудь еще, и делаешь это несколько легче, потом...

— Нет! — сказала она твердо. — Может быть, я и дура, но мне не нужны деньги, которых я не заработала.

И она ушла — окончательно; повернулась на каблуках и пошла через пустой зал. Она обернулась только у двери своей уборной — случайно, когда открывала дверь. Она увидела, что он смял в руках грудку билетов, равнодушно бросил бесформенный ком на пол, повернулся и пошел к выходу в фойе.

Он протанцевал с ней примерно шесть раз; он выкинул сейчас билетов больше чем на девять долларов! И это был не жест, чтобы произвести на нее впечатление, — он и не заметил, что она на него смотрела. Легко же он относится к своим деньгам! Будто не знает, что с ними делать, как избавиться от них побыстрее. А это значит — если это вообще что-нибудь значит, — что он не привык иметь деньги. Теперь-то она научилась разбираться в таких вещах. Те, у кого деньги водятся, всегда знают, что с ними делать.

Она пожала плечами и закрыла за собой дверь.

Теперь ей предстояло «прорваться наружу». Но эта операция уже не страшила ее. Это стало похоже на необходимость перебраться через грязную лужу: неприятно, но через минуту ты уже на другой стороне, и — с ней покончено.

Когда она вышла в зал, лампы погасли. Горела только одна, чтобы уборщица могла мыть пол.

Она прошла вдоль мрачного, пустого, похожего на пещеру зала.

Свет и мрак поменялись местами. Теперь за окнами было светлее, чем здесь, внутри. Она прошла мимо двух окон в конце зала и увидела его — своего друга, своего союзника и сообщника; он был все там же — четкий круг на фоне неба. Она толкнула раскачивающиеся двери и вышла в фойе, еще освещенное. Там были двое. Один из них — тот, что закинул ногу на подлокотник дивана, — должно быть, ждал кого-то: он на нее едва посмотрел. Другой, тот самый, что танцевал с ней последние полдюжины — или около того — танцев. Она, однако, напряженно смотрел вниз, на улицу, а не на двери зала, откуда она вышла. Его, видимо, задержало решение проблемы: «Куда идти?» — а не намерение кого-нибудь дожидаться. Она прошла бы молча, но он прикоснулся к шляпе — теперь на нем была шляпа — и сказал:

— Домой идете?

Если прежде, в зале, она была уксусом, то здесь, в фойе, превратилась в серную кислоту. Здесь не было распорядителя, который мог бы защитить, здесь ты должна действовать на свой страх и риск.

— Нет, наоборот, я только что пришла. Я поднимаюсь по лестнице спиной вперед.

Она спустилась по покрытым резиновой дорожкой ступенькам и вышла на улицу. Он остался там, наверху. Похоже, что он все еще не знает, что ему делать. И ведь он никого не ждал. Какое ей дело? Что ей до всего этого и до кого бы то ни было?

На воздухе было хорошо, — где угодно было бы хорошо после этого зала.

Но по-настоящему опасная зона — здесь, на улице! Здесь стояли две не очень-то импозантные фигуры. Они держались в тени подъездов. С их губ свешивались сигареты. Она не помнила случая, чтобы их не было здесь. Как коты, которые следят за мышинной норкой. Те, которые околачивались там, наверху, ждали, как правило, какую-нибудь определенную девушку, а те, что были здесь, внизу, просто ждали кого-нибудь... Повернувшись, она пошла вверх по улице.

Она наперед знала все, что произойдет. Она могла бы написать об этом книгу. Все дело в том, что не стоит пачкать хорошую, белую, чистую бумагу вот этим. И все. Это просто грязная лужа, и, когда идешь домой, через нее надо перешагнуть.

На этот раз началось со свиста; такая форма приставания встречается часто. Это не был честный, открытый, звонкий свист, а приглушенный, таинственный. Она знала, что он относился к ней. А затем последовал словесный постскриптум: «Куда спешишь?» Она даже не ускорила шаг: это означало бы оказывать делу большее уважение, чем оно заслуживало. Когда они думают, что ты боишься, они делают храбрее. Чья-то рука, задерживая, ухватила ее за локоть. Она не пыталась вырваться, остановилась и посмотрела на руку, а не в лицо.

— Уберите, — сказала она холодно.

К тротуару подкатила машина. Ее дверца была поощрительно приоткрыта.

— Ну, ладно, тебя трудно уговорить. Я тебе поверил. Теперь пошли — такси ждет.

— Я с тобой и в одном троллейбусе не поеду.

Он попытался повернуть ее к машине. Ей удалось захлопнуть сзади себя дверцу, и машина стала опорой, к которой она могла прислониться спиной. Какой-то человек остановился возле них — тот самый, что стоял наверху, в фойе, когда она выходила; она увидела его через плечо этого типа. Но она никогда ни у кого не просила помощи на этих улицах — при этом условии по крайней мере знаешь, что никогда не разочаруешься. И потом все равно через минуту все кончится.

Человек подошел ближе и спросил неуверенно:

— Нужно мне что-нибудь сделать, мисс?

— Вы что, думаете — это отбор желающих выступить по радио в «Часе добрых дел»? Если у вас отнялись руки, позвоните полисмена!

— Зачем мне его звать, мисс! — ответил он с какой-то удивительной скромностью, совершенно не подходящей к обстоятельствам.

Он подтянул второго человека к себе, и она услышала глухой звук удара по кости — должно быть, по челюсти. Тот, кого стукнули, зацепился за задний буфер машины, не удержался и отлетел на мостовую, упал на спину. Мгновение ни один из троих не двигался. Потом упавший стал быстро отползать, забавно отталкиваясь ногами, — он не был уверен, что находится на безопасном расстоянии. Молча, без всяких угроз или других демонстраций враждебности, как подобает человеку, который достаточно практичен, чтобы не тратить время на запоздалый героизм, он вскочил на ноги и удрал. Потом ушла машина: шофер понял, что делать ему здесь нечего.

Ее благодарность вряд ли можно было назвать очень горячей.

— Вы всегда так долго ждете? — сказала она.

— Я же не знал. Может быть, это какой-нибудь ваш особенный друг, — пробормотал он.

— Вы полагаете, что особенные друзья имеют право набрасываться на человека, когда он идет домой? Вы тоже так делаете?

Он улыбнулся.

— У меня нет особенных друзей.

— Можете считать, что вы высказались за двоих, — сказала она. — А мне они и не нужны.

Он понял, что она собирается без дальнейших разговоров повернуться и уйти.

— Меня зовут Куин Вильямс, — вырвалось у него; он пытался задержать ее еще на мгновение.

— Рада с вами познакомиться.

Эти слова не звучали так же приятно, как они выглядят написанными на бумаге.

Она снова двинулась в путь. Он повернулся и посмотрел в ту сторону, где исчез пристававший к ней человек.

— Как вы думаете: может быть, мне пройти с вами квартал или два?

Она и не разрешила и не запретила ему это сделать.

— Он не вернется, — только и сказала она.

Он истолковал ее невразумительный ответ как полное согласие и пошел в ногу с ней на официальном расстоянии в несколько футов. Целый квартал они прошли в молчании: она — потому что твердо решила не делать никаких усилий для поддержания разговора; он — потому что был очень робок и не знал, что говорить теперь, когда получил право провожать ее. Они перешли улицу, и она заметила, что он оглянулся, но ничего не сказала. В таком же каменном молчании миновали второй квартал. Она смотрела вперед, словно была одна.

Подошли ко второму перекрестку.

— Здесь я поворачиваю на запад, — сказала она коротко и повернула за угол, как бы прощаясь с ним без лишних церемоний.

Он не понял намека и, помедлив, повернул вслед за ней. Она заметила, что он снова оглянулся.

— Можете не волноваться, — сказала она язвительно, — он сбежал совсем.

— Кто? — спросил он удивленно. И тут только понял, о ком она говорит. — О, я о нем и не думал!..

Она остановилась, чтоб опубликовать ультиматум.

— Послушайте, — сказала она, — я не просила вас идти со мной до моего дома. Если вы хотите идти — это ваше дело. Только одно я вам скажу: ничего не придумывайте, пусть никакие мысли не лезут вам в голову.

Он принял это молча. И не протестовал против того, что она неправильно поняла его, когда он оглядывался. Это было почти первое, что ей понравилось в нем, с тех пор как он попал на ее орбиту час или два назад.

Они снова двинулись, все еще на расстоянии нескольких футов друг от друга, все еще не разговаривая. Это было странное провожание. Но если уж нужно, чтобы ее кто-нибудь провожал, она предпочла бы, чтоб это было именно так.

Они шли вверх по переулку, темному, как тоннель, — над ним когда-то проходила воздушная железная дорога.

Наконец он заговорил. Ей показалось, что это были первые слова, которые он произнес после драки возле такси.

— Вы хотите сказать, что ходите здесь одна ночью?

— А почему бы и нет? Это не хуже, чем там. Если здесь на вас кто-нибудь набросится, то только ради вашего кошелька.

Она уже устала держать свои коготки выпущенными, все время готовясь пустить их в ход. Приятно было — ради разнообразия — вернуть их туда, где им полагалось быть.

Он снова оглянулся — второй или третий раз, как будто в густом мраке, сквозь который они шли, можно было что-нибудь рассмотреть.

— Чего вы боитесь — что он набросится на вас с ножом? Он этого не сделает, не беспокойтесь.

— Я и не заметил, что оглядываюсь. Должно быть, такая привычка у меня появилась...

«Его что-то гнетет, — подумала она. — Люди не оглядываются вот так, каждую минуту». Она вспомнила о странной

покупке кучи билетов там, в этой потогонке, и о том, как он выбросил их, будто они потеряли свою ценность, как только кончился вечер. Она вспомнила еще кое-что и спросила:

— Когда я вышла, вы стояли там, в фойе, на верху лестницы, помните? Вы кого-нибудь ждали?

Он сказал:

— О нет, не ждал.

— Тогда зачем вы стояли там, ведь дансинг закрылся?

— Я не знаю, — сказал он. — Просто не решил, куда мне идти и что делать.

Тогда почему он не стоял на улице, у выхода? Ответ пришел сам собой: с улицы нельзя увидеть человека, стоящего в фойе. Пока он находится там, он в безопасности, а внизу, у подъезда, человека можно узнать, если его кто-нибудь ищет.

Но она его не спросила, так ли это, потому что ее собственная мысль в этот момент, как решетка в воротах крепости, вдруг опустилась с резким скрежетом: «Не нужно милосердия! Какое тебе дело? Что все это тебе? Зачем тебе это нужно знать? Что ты — нянька в трушобах? О тебе кто-нибудь когда-нибудь беспокоился? Ты все еще не научилась. Тебя избили до синяков, а ты все еще протягиваешь руку каждому, кто попадает на твоем пути? Что нужно, чтобы ты, наконец, поняла? Стукнуть тебя по голове свинцовой трубкой?»

Он снова обернулся. И она ничего не сказала. Они дошли до Девятой авеню, темной, широкой и мрачной. Красные и белые бусинки автомобильных фар не могли осветить ее. Поток бусинок стал медленнее, застыл и превратился в блестящую диадему.

Она уже шагнула на мостовую, когда он на какое-то мгновение отпрянул назад.

— Пошли. Светофор открыт, — сказала она.

Он сразу же пошел за ней, но эта задержка разоблачила его: она поняла, что не светофор остановил его, а одинокая фигура на другой стороне улицы, медленно удалявшаяся от них, — полицейский, обходящий свой участок.

Они пересекли улицу и вошли в бездну следующего квартала с тремя озерцами света. В воздухе теперь чувствовались сырость и прогорклый запах загрязненной нефтью воды. Где-то впереди них мрачно простонала сирена буксира, затем другая ответила ей — издалека, со стороны Джерси.

— Теперь уже скоро, — сказала она.

— Я никогда не был в этом районе, — признался он.

— За пять долларов в неделю нельзя жить подальше от реки.

Она открыла свою сумочку и стала искать ключ. Своего рода рефлекс — заблаговременно удостовериться, что ключ на месте. Когда они достигли среднего озерца света, она остановилась.

— Ну, вот здесь.

Он посмотрел на нее. Она подумала, что он почти глупо на нее смотрит. Но во всяком случае в его взгляде не было никаких любовных стремлений.

Почти напротив них — ее подъезд; дверь распахнута. Раньше подъезд был совсем темным, и она до ужаса боялась входить в дом поздно ночью; но когда кого-то зарезали на лестнице,

там стали оставлять тусклую лампочку, так что она размышляла кисло: «Ты по крайней мере увидишь, кто именно всадит тебе нож в спину, если уж это должно случиться...»

Она сделала прощание очень кратким, чтобы уйти за пределы досягаемости его вытянутой руки.

— Ни о чем не беспокойтесь, — сказала она и оказалась уже в подъезде, а он — на тротуаре.

Опыт научил ее поступать именно так, а не стоять рядом, выслушивая уговоры и возражения.

Но, прежде чем уйти, она успела заметить, что он снова оглянулся в темноту, сквозь которую они только что прошли. Над ним властвовал страх.

Кем он был для нее? Просто розовым талончиком на танец, порванным пополам. Два с половиной цента комиссионных с каждых десяти центов. Пара ног, ничто, ноль.

ЧЕТВЕРТЬ ВТОРОГО

Она прошла по коридору. Теперь она была одна. Она была одна в первый раз с восьми часов вечера. Ее не обнимали мужские руки. Чужое дыхание не касалось ее лица. Она была одна. Она не очень хорошо представляла себе, каково людям в раю, но ей казалось, что там именно так — можно быть одной, без мужчины. Она прошла мимо единственной лампы в конце коридора — бледная, усталая... Сначала она шла если не бойко, то во всяком случае твердо, но после двух маршей лестницы как бы осела, пошатываясь из стороны в сторону, придерживаясь то за стены, то за деревянные перила.

Она поднялась на самый верх и, задыхаясь, прислонилась к двери.

Оставалось еще немного, совсем немного, и тогда — все. Все — до завтрашнего вечера. Она достала ключ, сунула его в скважину, толкнула дверь, вытащила ключ и захлопнула дверь за собой. Не руками, не за ручку — плечами, откинувшись назад.

Нащупала выключатель и зажгла свет.

Вот оно! Это — дом. Вот эта комната. Ради этого ты упаковала чемодан и приехала сюда. Об этом ты мечтала, когда тебе было семнадцать лет. Для этого ты выросла красивой, выросла нежной, привлекательной. Выросла...

Здесь трудно двигаться. Вся комната засыпана черепками. Они доходят до щиколоток, до колен. Они невидимы — рассыпавшиеся мечты, разбитые надежды, лопнувшие радуги...

Здесь ты иногда плакала, плакала тихо, неслышно, про себя, глубокой ночью. Или просто лежала с сухими глазами, ничего не ощущая. Все было безразлично. Ты размышляла тогда: скоро ли ты постареешь? Надо думать, скоро...

Она, наконец, оттолкнулась от двери и, стягивая шляпку, бросила взгляд на мутное зеркало в углу. Нет, не скоро. И к тому же очень жаль, что это все-таки произойдет.

Она свалилась на стул и сбросила туфли. Ноги у людей существуют не для того, что делают ее ноги. Людей нельзя заставить танцевать бесконечно.

Она сунула ноги в фетровые ночные туфли с бесформенными

отворотами и продолжала сидеть с бессильно повисшими руками.

Около стены стоит кровать, продавленная посредине. В центре комнаты, под лампой, — стол и стул. На столе лежит конверт с наклеенной маркой, совсем готовый к отправке. Но в конверт ничего не вложено. На конверте — адрес: «Миссис Ани Кольман. Гор. Глен-Фолз, штат Айова». А рядом — листик почтовой бумаги, на котором написано всего три слова: «Вторник. Дорогая мама!» — и больше ничего.

Закончить письмо нетрудно — она написала много таких писем. «У меня все в порядке. Спектакль, в котором я участвую, имеет большой успех, и очень трудно достать на него билеты. Он называется...» Она может выбрать какое угодно название в газете. «Я играю в этом спектакле не очень большую роль, немного танцую, но уже поговаривают о том, чтобы дать мне в следующем сезоне роль со словами. Так что, видишь, мама, беспокоиться нечего...» И потом: «Пожалуйста, не спрашивай, нужны ли мне деньги. Это смешно. Видишь, я посылаю тебе. По справедливости я должна была бы послать больше, мне достаточно хорошо платят. Но я немного растранижила. В нашей профессии приходится следить за своей внешностью. А потом — моя квартира. Как бы она ни была прекрасна, она стоит довольно дорого. Да еще моя прислуга-негритянка. Но на следующей неделе я постараюсь прислать больше...» И две долларовые бумажки окажутся в конверте — бумажки, невидимо покрытые ее кровью.

Вот что она писала. Она могла кончить это письмо с закрытыми глазами. Может быть, она его допишет завтра, когда встанет. Придется. Оно лежит на столе уже три дня. Но не сегодня. Иногда человек так устает, что чувствует себя побежденным! Даже глгать не может. И тогда между строк может проскользнуть...

Она поднялась и подошла к нише в задней стене. Там стояла газовая конфорка. Она чиркнула спичкой, повернула кран — и возник маленький кружок голубоватого пламени. Сняла с полки и поставила на конфорку помятый жестяной кофейник. Кофе засыпано еще утром, когда двигаться не так мучительно. Прежде чем расстегнуть и снять платье, она подошла к окну — задернуть занавеску. И замерла...

Он все еще стоял там, внизу. Он стоял там, внизу, на улице, возле дома. Тот, который провожал ее. Он стоял на краю тротуара, будто не знал, куда отсюда уйти. Стоял неподвижно, однако не совсем спокойно.

Но он остался не из-за нее: не смотрел вверх, не искал ее в окнах и не заглядывал в подъезд, через который она ушла. Он делал то же, что раньше, когда шел с ней, — оглядывался по сторонам, напряженно всматриваясь в ночь. Да, в чувствах, которые он испытывал, нельзя было ошибиться даже с высоты третьего этажа. Он боялся.

Ее поведение почему-то ее раздражало. Чего ему надо? Почему он не уходит куда-нибудь? Она хочет избавиться от них всех, она хочет забыть их всех, кто имеет хоть какое-то отношение к этой толчее, к ее тюрьме! А он один из них.

Ей хотелось наброситься на него: «Убирайся! Чего ты там

ждешь? Давай двигай, или я позову полицейского!» Она знала, как говорить, чтобы заставить человека уйти!..

Но прежде чем она раскрыла окно, что-то произошло.

Он посмотрел вдоль улицы, в направлении Десятой авеню. И она увидела, как он вздрогнул и съехался.

Еще миг — и он бросился в сторону, исчез. Очевидно, в подъезде ее дома.

Никаких признаков того, что вызвало его исчезновение. Улица внизу была безжизненна — темная, как ствол револьвера; только свет уличных фонарей конусами падал на тротуар.

Она стояла, прижав лицо к стеклу, выжидая и наблюдая. Внезапно что-то белое появилось во тьме. Через несколько секунд она поняла: это был маленький патрульный полицейский автомобиль. Он приближался с выключенными фарами, бесшумно, чтобы захватить злоумышленников врасплох. У него не было определенной цели. Он ни за кем не охотился. Просто ехал и завернул сюда — наугад.

Вот он уже проехал. У нее мелькнуло желание открыть окно и крикнуть, чтобы они остановились, и сказать им: «Здесь, в подъезде, прячется человек. Спросите его, что он задумал». Но она не тронулась с места. Зачем? Она не собиралась заниматься его делами, но, с другой стороны, она не собиралась также заниматься делами полиции.

Автомобиль проехал и пропал за углом.

Она обождала минуту или две, чтобы посмотреть, как он выйдет из подъезда. Он не выходил. Тротуар перед домом был пуст. Он прятался где-то в подъезде. Он совершенно потерял мужество, это ясно.

Наконец она задернула занавеску и отошла от окна. Но не стала раздеваться. Она подошла к двери и прислушалась. Затем медленно открыла ее. Вышла в пустой коридор, неслышно — в своих мягких туфлях — прошла к перилам, осторожно наклонилась и посмотрела вниз в слабо освещенный зияющий колодезь — на самое дно.

Она увидела его там, внизу. Он сидел, сгорбившись, на первых ступеньках. Он снял шляпу. Должно быть, она лежала рядом с ним. Он сидел спокойно, только одной рукой все время теребил волосы.

И, сама не зная почему, она издала шипящий звук — сильный, но не громкий, чтобы привлечь его внимание.

Вздрогнув, он вскочил и взглянул вверх. И увидел ее лицо наверху, над перилами.

Она жестом приказала ему подняться. Он сразу же исчез из виду, но она слышала, как он быстро поднимается, шагая через две-три ступеньки. Потом он показался в последнем пролете — и вот остановился рядом с ней, тяжело дыша. Он посмотрел на нее вопросительно и в то же время с какой-то надеждой.

Он моложе, чем казалось прежде. Моложе, чем в той толкучке. Может быть, там сама атмосфера заставляет всех выглядеть зловещими и более опытными, чем они есть на самом деле.

— Что случилось, парень? — поскольку она нарушала одно из ее самой введенных правил, она задала вопрос как можно грубее.

Он сказал:

— Ничего... Я... Я не понимаю вас... — И запнулся. Но потом сказал: — Я просто отдыхал там немного.

— Да, — сказала она с каменным лицом. — Люди всегда отдыхают на ступеньках чужих домов в два часа ночи, когда их ничто не тревожит. Я знаю. Это совершенно логично. То-то вы всю дорогу оглядывались. Неужели вы думаете, что я не заметила? И того, как вы устроились в фойе, когда я вышла из своего сарая?

Он смотрел на лестничные перила и тер их ладонью по одному месту, будто там никак не стиралась грязь.

Он становится моложе с каждой минутой. Теперь ему лет двадцать пять. А когда он возник в дансинге, ему было... Да что там — у крыс нет возраста. Во всяком случае, их возрастом никто не интересуется.

— Как вы сказали вас зовут? Вы мне говорили на улице, но я забыла.

— Куин Вильямс.

— Куин? Никогда не слыхала такого имени.

— Это девичья фамилия моей матери.

Легкий звенящий шум заставил ее вернуться в комнату. Она подошла к конфорке и выключила газ, подняла жестяной кофейник и перенесла его на стол. Дверь осталась открытой, и она подошла, чтобы закрыть ее.

Он все еще стоял у лестницы, и все еще полировал перила, и смотрел на свою руку...

Она резко и повелительно сказала:

— У меня тут есть кофе, зайдите на минутку, я поделюсь с вами. — И тут же подумала: «Какая ты дура! Неужели ты никогда не научишься? Неужели ты не знаешь, что этого нельзя делать! И все-таки ты сделала это».

Он шагнул вперед, но она стояла в дверях, как бы преграждая ему путь.

— Только договоримся об одном, — предупредила она убийственно ровным голосом. — Я вас приглашаю выпить со мной чашку кофе — и больше ничего.

— Я ведь вижу, что вы за человек, у меня глаза в порядке, — сказал он с какой-то странной скромностью, которую она до сих пор в мужчинах не встречала.

— Вы бы поразились, если б узнали, скольким людям надо сходить к главному врачу, — кисло пошутила она.

Она отступила, и он вошел. Она закрыла дверь.

— Говорите тише. В соседней комнате живет старая летучая мышь... Можете взять вон тот стул, а я придвину этот, если он не рассыплется.

Он со строгой церемонностью опустился на стул.

— Можете бросить свою шляпу на постель, — она снизошла до гостеприимности, — если дотянетесь.

Они оба посмотрели, как шляпа очутилась на кровати, и неуверенно улыбнулись друг другу. Потом она опомнилась и быстро согнала свою улыбку, а его — погасла от одиночества.

— Все равно я в этой штуке никогда не могу сварить только одну чашку кофе, — заметила она, как бы извиняясь за то, что попросила его войти.

И принесла еще одну чашку и блюдо.

— У меня две чашки, потому что их продавали у Вулворта по пять центов за пару. Надо было брать две, либо оставить им сдачу, — сказала она. — Первый раз ею пользуюсь. Наверно, надо ее ополоснуть. — Она подошла к закрытому плесенью крану водопровода в той же нише, в углу. — Вы пейте, — сказала она, стоя к нему спиной. — Не ждите меня.

Она услышала, как задребезжала крышка кофейника, когда он поднял ее, чтобы налить себе кофе. А потом крышка упала с таким стуком, что чашка на столе запела.

Она быстро обернулась

— Что такое? Вы ошпарились? Вылили на себя?

Ей показалось, что он побледнел. Он покачал головой, но не взглянул на нее: он был слишком занят чем-то. В одной руке он держал кофейник, а в другой — конверт. Конверт с адресом ее матери. Он смотрел на него в полном оцепенении.

Она подошла к столу и сказала:

— Что случилось?

Он взглянул на нее, все еще держа в руке конверт.

— Вы кого-нибудь знаете в Глен-Фолзе, в Айове? Вы туда посылаете это письмо?

— Да. А что? — спросила она резко. — Это я своей матери пишу. — В ее тоне был вызов. — Ну и что? Что вы хотите по этому поводу сказать?

Он покачал головой и приподнялся со стула, но потом снова сел. Он смотрел на нее во все глаза.

— Это невозможно! — выдохнул он, наконец, и потер лоб. — Ведь я приехал оттуда! Это мой родной город. Я приехал оттуда немногим больше года назад... Вы что, тоже оттуда? — В голосе его звучало недоверие.

— Когда-то я там жила, — сказала она осторожно. Она выпустила слово «тоже». Так уж она была устроена. Она научилась никому не верить, никогда и нигде. Это единственный способ не быть обманутой. Какую он ведет игру? Минутку! Он открыт! Сейчас она собьет его с ног прямым в подбородок.

— Так вы, значит, из Глен-Фолза? — Она смотрела на него в упор. — А на какой улице вы там жили?

Он ответил сразу же, раньше, чем она успела сесть.

— На Андерсон-авеню, около Пайн-стрит, второй дом от угла, между Пайн-стрит и Ок-стрит. Очень близко от угла...

Она внимательно следила за его лицом.

Так отвечают, когда спрашивают твое имя.

— Вы когда-нибудь ходили в кинотеатр «Бижу», на площади, где суд?

На этот раз ответ задержался.

— Когда я там жил, — сказал он, и в голосе его звучало недоумение, — никакого кинотеатра «Бижу» не было. В Глен-Фолзе было только два кинотеатра: «Штат» и «Стандарт».

— Я знаю, — сказала она тихо, глядя на свои руки. — Я знаю, что там нет такого кинотеатра. — Ее руки немного дрожали, и она спрянула их под стол. — А как называется та улица, где мостик пересекает железнодорожную линию? Знаете, мостик, по которому переходят через железнодорожную выемку?

Только тот, кто родился там, кто прожил там полжизни, мог ответить на этот вопрос.

— Да какая же это улица? — ответил он просто. — Мостик расположен в очень неудобном месте, между двумя улицами, и к нему приходится пробираться по очень узенькой тропочке. Все на это жалуются, вы ведь знаете.

Да, она знала. Но дело в том, что и он знал. Он сказал:

— Господи, посмотрели бы вы на себя! Вы совсем побледнели. Я тоже так себя чувствовал только что.

Значит, правда? И ей достался такой странный фант?

Она сказала почти шепотом:

— Знаете, где я жила? На Эме-роуд. Вы знаете, где это? Да? Это ведь следующая улица после Андерсон-авеню. Это, собственно, не улица, а тупик. Послушайте: наверное, задние стены наших домов — друг против друга. Вы когда-нибудь слышали такое!..

Она замолчала. Потом сказала удивленно:

— Как получилось, что мы не были знакомы?

— Я приехал в Нью-Йорк год назад, — сказал он.

— А я пять лет назад.

— А мы переехали на Андерсон-авеню после того, как умер мой отец. Это два с лишним года тому назад. До этого мы жили на ферме, у нас была ферма около Марбери...

Она быстро кивнула, счастливая оттого, что иллюзия не рухнула.

— Так вот в чем дело! Я уже уехала к тому времени, когда вы переехали в город. Но, может быть, сейчас мои родные уже знакомы с вашими родными. Ведь — соседи...

— Должно быть. Я прямо их вижу сейчас. Мама всегда очень любила... — Он запнулся и сказал: — Вы мне еще не сказали, как вас зовут.

— Меня зовут Брикки *, Брикки Кольман. То есть меня зовут Руфь, но все называли меня Брикки, даже в семье. Боже, как я ненавидела это прозвище, когда была девочкой! А теперь мне его даже как-то не хватает. Это все из-за...

— Я понимаю, из-за ваших волос, — закончил он за нее.

Его рука потянулась к ней, ладонью кверху, немного неуверенно, готовая спрятаться, если на нее не обратят внимания. Ее рука появилась из-под стола тоже не очень уверенно. Руки сошлись, встряхнулись и снова разошлись.

Они смущенно улыбнулись друг другу через стол. Церемония была закончена.

— Привет, — пробормотал он нерешительно.

— Привет, — ответила она тихо.

Они словно заключили союз, основанный на общности интересов.

— Мне кажется, что наши родные уже познакомились там. Как вы считаете? — спросил он.

— Обождите минутку! Вильямс... Хотя это очень распространенная фамилия. А нет ли у вас брата, с веснушками?

— Есть. Младший братишка. Джонни. Еще мальчишка, ему восемнадцать лет.

* Кирпичик (а н г л.).

— Готова держать пари — он встречается с моей племянницей! Ей самой всего шестнадцать лет. Она мне время от времени пишет о своих сердечных увлечениях. Теперь это — мальчишка по фамилии Вильямс, совершенно замечательный парень, если не считать веснушек. Но она надеется, что они со временем сойдут.

— Он играет в хоккей?

— Да, в команде Джеферсоновской школы, — ответила она.

— Тогда это Джонни. Тогда это он!

Они только качали головой, совершенно пораженные.

— Как тесен мир!

— Да, действительно!

Теперь уже она смотрела на него. Господи, как она смотрела на него! Видела его в первый раз. Изучала его. Заучивала наизусть. Простой парень, задушевный, простой, как хлопчатобумажная ткань. Ничего шикарного в нем — просто парень из соседнего дома. В жизни каждой девушки из маленького городка есть такой парень. И вот он здесь. Ее парень! Тот, который должен был быть ее парнем, который был бы ее парнем, если бы она задержалась дома, обождала еще немного. Ничего особенного в нем нет. Да и вообще в мальчишках из соседних домов никогда ничего особенного не бывает. Они слишком близки к вам.

Они говорили о своем родном городке тихими голосами, и глаза их заволокла мечта. Они ввели родной городок в эту самую комнату. Они вытолкнули Нью-Йорк, и он повис в ночи, снаружи. Они вытолкали его прочь.

Они забыли, кто они и чем занимались. Они уже говорили не друг для друга, а каждый для себя. И образовался один бегающий ручей между ними, один поток воспоминаний.

— Этот деревянный тротуар перед универсальным магазином «М»... Там одна доска все время опрокидывалась, если станешь близко к краю. Я уверен, что ее так и не починили.

— А кондитерская Грегори — помните? Какие он придумывал названия для своих блюд! Мороженое «Восточные сладости Делюкс»!..

— А Джеферсоновская школа? Вы тоже ходили в Джеферсоновскую школу?

— Конечно! Все ходили в Джеферсоновскую школу. А эти отлогие каменные скосы вдоль лестницы? Я всегда съезжала по ним стоя, когда выходила из школы.

— И я тоже. У вас наверняка английский язык преподавала мисс Эллиот? Да? У вас была мисс Эллиот?

— Конечно. У всех была мисс Эллиот по английскому.

На мгновение ей стало немного больно: «Мальчишка из соседнего дома, а я встретила с ним за две тысячи миль и с опозданием на пять лет! Мальчишка из соседнего дома. Мальчишка, которого я должна была знать и никогда не знала!»

— А аптека в конце главной улицы? Это тоже хорошее место, — сказал он.

— А вьюнки в окнах...

— А вечером на всех верандах — гамаки. Они медленно раскачиваются, а на полу, рядом, стоит стакан лимонада... А вы тоже пили лимонад? Я так всегда...

— А ночью — никакой музыки. Тишина...

Она уронила голову на руки так внезапно, будто у нее сломалась шея.

— Домой, — услышал он ее приглушенный голос. — Домой! Я хочу снова увидеть маму...

Когда она подняла голову, он стоял над ней. Он до нее не дотронулся, но она поняла, что он хотел это сделать.

Она не хотела, чтобы он увидел ее глаза, полные слез.

— Дайте-ка сигарету, — сказала она хрипло. — Я всегда курю после того, как плачу. Не знаю, что со мной случилось. Я на людях не плакала уже много лет.

Ему это не понравилось. Он не дал ей сигареты.

— Почему вы не вернетесь? — спросил он.

Теперь он снова казался ей намного старше. А может быть, она стала моложе, в свою очередь. Город старит человека. Вот дома остаешься молодым. И даже когда думаешь о доме, тоже немного молодеешь на некоторое время.

Она молчала. Он снова спросил:

— Почему вы не вернетесь? Почему вы не вернетесь домой?

— Вы думаете, я не пыталась? — сказала она сердито. — Я рассчитала стоимость дороги и знаю все наизусть. Столько раз ходила в справочное бюро узнавать!.. Прямой автобус ходит только один раз в день, он уходит из Нью-Йорка в шесть часов утра. Можно поехать вечерним автобусом, но тогда придется заночевать в Чикаго, а если заночевать в Чикаго или где-нибудь еще, можно потерять власть над собой и вернуться. Однажды я даже дошла до самой автобусной станции, и со мной был мой чемодан, запакованный. Я сидела и смотрела, пока они откроют ворота. И не смогла. В последнюю минуту убежала. Сдала билет и притащила обратно сюда.

— Но почему? Почему вы не можете уехать, если хотите? Почему?..

— Потому, что из меня ничего не вышло. Они считают, что я крупная звезда на Бродвее, а я просто такси-герл, мешок с опилками, который нанимают, чтобы таскать по полу. Видите эту бумагу, на которой написано только «Дорогая мама»? Одна из причин — то, что я писала домой все это время. А теперь у меня не хватает смелости вернуться, посмотреть им в лицо и признаться, что я неудачница. Для этого нужно много смелости, а у меня ее нет.

— Но ведь это ваши родные! Ваша семья! Они поймут. Они первые постараются сделать, чтоб вам было легче, поддержат вас.

— Я знаю. Маме я могу рассказать все. Не в ней дело. Дело в друзьях, в соседях. Она, наверное, все эти годы хвсталась мной. Читала им письма. Знаете, как это бывает... Конечно, мама и сестры помогут мне. Они ни слова не скажут. Но все равно им будет больно. А я этого не хочу. Я всегда хотела вернуться так, чтобы они гордились мною. А теперь, если я вернусь, они будут жалеть меня. — Она посмотрела на него и покачала головой. — Это только часть причины. Это не самая главная причина. Совсем не самая главная.

— Так в чем же дело?



— Я не могу вам сказать. Вы будете смеяться надо мной. Вы не поймете.

— Почему я буду смеяться? Почему это я не пойму? Я ведь тоже оттуда, тоже чужой в этом городе, как и вы.

— Ну, тогда слушайте, — сказала она. — Дело в самом этом городе. Вы думаете, это просто место на карте? Да? А я думаю о нем, как о личном враге, и знаю, что права. Город злой. Он тебя побеждает. Он схватил меня мертвой хваткой и держит. И я не могу уехать.

— Но дома, бетонные здания — у них нет рук. Они не могут протянуть руки и схватить вас, если вы решите уехать!

— Я говорила, что вы не поймете. Домам не нужны руки. Когда их так много, когда они сгрудились вместе, они заражают воздух. Я не знаю длинных, умных слов. Я знаю только, что в этом городе есть какая-то атмосфера, которая исходит от всех этих домов. Гнусная, плохая, злая. И когда вы слишком долго дышите ею, она проникает вам под кожу, проникает в кровь — и вы пропали. Город вас захватил. И тогда остается только сидеть и ждать. И через некоторое время он превратит вас в то, чем вы никогда не хотели быть и никогда не думали, что будете. Тогда уже поздно. Тогда можно уехать, куда угодно, хоть

домой, но вы останетесь тем, во что превратил вас город.

Теперь он посмотрел на нее молча.

— Вам это все кажется ерундой. Вы мне не верите, но я убеждена, что права. Город омерзителен. Если вы немного слабее других, немного медлительнее или вам нужно немного помочь, нужно поддержать во время прыжка через пропасть, вот вас-то

город и хватает. Вот тогда он и выступает в подлом свете! Город — трус. Он бьет только лежачих, только, только лежачих! Я говорю, что город мерзок! Может, он и хорош для кого-то, но ведь этот «кто-то» не я. А для меня он мерзок. Я его ненавижу. Он — мой враг.

— Почему вы не уезжаете? — снова спросил он. — Почему?..

— Потому, что я недостаточно сильна, чтобы разорвать цепи, которыми город меня сковал. Я это доказала себе в то раннее утро, когда сидела на автобусной станции. Тогда я поняла. Чем больше тебе хочется уехать, тем сильнее он тебя тянет назад. Он подобрался ко мне исподтишка, называл себя здоровым смыслом. Он шептал мне: «Ты можешь уехать в любой момент. Почему не попробовать еще раз, почему не подождать еще один день? Почему не подождать еще одну неделю?» И к тому времени, когда кондуктор автобуса сказал: «Готов», — я уже шла по улице, обратно, с чемоданом в руке. Шла медленно, победенная. Я не шучу. Когда я шла, мне казалось, что я слышу, как тромбоны и саксофоны дразнят меня оттуда, с вершин домов: «Ага, попалась?! Мы знали, что ты не сможешь этого сделать! А-ча-ча! Попалась?!»

Она опустила голову на руки.

— Может быть, я не смогла разорвать эти путы, потому что была одна. Одна я слишком слаба. Если бы кто-нибудь поехал вместе со мной, кто-нибудь, кто мог бы меня схватить за руки, если бы я попыталась удрать! Тогда, может быть... Тогда я не подалась бы.

Он весь подобрался. Она это заметила.

— Жаль, что я не встретил вас вчера, — услышала она. Он говорил больше себе, чем ей. — Как обидно, что я встретил вас сегодня, а не вчера!

Она поняла, что это значит. Он что-то сделал вчера, что-то такое, чего не должен был делать. И теперь он не может вернуться домой. Ничего нового он не сказал. Она все время знала, что его что-то тревожит.

— Ну, мне пора, — пробормотал он. — Надо уходить.

Он подошел к постели, где лежала его шляпа. Она заметила, что он приподнял край подушки, и увидела, как другая рука скользнула во внутренний карман пиджака.

— Забери! — сказала она резко. — И не смей... — Потом она немного смягчилась. — У меня есть деньги на дорогу. Я отложила их еще восемь месяцев тому назад. Даже на сендвич во время остановки.

Он надел шляпу и пошел. Он пошел прямо к двери — медленно, нерешительно. Проходя, он коснулся рукой ее плеча, словно совершая обряд посвящения в рыцари. Общее горе, взаимная симпатия бессильных помочь друг другу людей — двух людей, попавших в одну беду.

Она дала ему дойти до двери и, когда он взялся за ручку, сказала:

— Они ищут тебя? Да?

Он обернулся и посмотрел на нее без удивления. И не спросил, как она догадалась.

— Нет еще. Они начнут искать часов в восемь утра, самое позднее — в девять, — сказал он просто.

БЕЗ ДВАДЦАТИ ДВА

Он молча вернулся к столу, расстегнул пиджак, сунул пальцы за подкладку — жестом фокусника, достающего колоду карт, — и на столе оказалась пачка денег. Пятидесятидолларовые банкноты. Из другой полы пиджака он извлек вторую пачку — на этот раз стодолларовых бумажек.

Он возился несколько минут. Деньги были разложены за подкладкой пиджака — и с боков и сзади, — чтобы не было заметно. Деньги лежали и в карманах. На столе оказалось шесть пачек банкнот, аккуратно перетянутых резинками, и одна — распечатанная.

Ее лицо ничего не выражало.

— Сколько? — спросила она ровным голосом.

— Теперь не знаю. Во всяком случае — больше 2 400. Было ровно 2 500.

Ее лицо все еще ничего не выражало.

— Где вы это взяли?

— Там, где я не имел права брать.

Несколько минут они молчали, как будто на столе между ними не лежало никаких денег.

Наконец, хотя его никто не просил об этом, он начал говорить. Ему нужно было рассказать. Ведь она — из его родного города. Она — девочка из соседнего дома; он рассказал бы ей о своих несчастьях, если бы они произошли там. Конечно, дома ему не пришлось бы говорить ни о чем таком. Но здесь с ним это случилось, и здесь он ей об этом рассказывал.

— До недавнего времени я работал помощником электромонтера, вроде ученика. Мы делали все понемногу. Чинили радио, электрические утюги, пылесосы, ставили штепсельные розетки в квартирах, исправляли дверные замки, — ну в общем делали всякую мелкую работу.

Я, конечно, приехал в Нью-Йорк не ради этого. Я думал, что найду хорошее место и буду учиться, стану инженером. Да. Идиот!.. Все же это было лучше, чем то, что мне пришлось испытать в первые несколько недель, когда я спал в парке на скамейке. Так что я не жаловался. А вот примерно месяц назад я потерял и эту работу. Меня не уволили — просто работа кончилась. У старика, с которым я работал, стало плохо с сердцем. Врачи ему велели перестать работать, и он перестал. Никто его не заменил, а я ему не родня. Он просто прикрыл мастерскую, и я остался на мели, как прежде. Целыми днями я ходил повсюду и ничего не мог найти. Конечно, иногда я мыл тарелки в ресторанах или в закусочных, где обедают автобусные кондуктора. Ничего другого мне не удалось найти...

Когда я понял, что иду прямым путем на свалку, я должен был вернуться домой, написать родным, чтобы прислали мне денег на дорогу. Они бы прислали. Но, наверное, со мной было то же, что и с вами. Я не хотел признаваться своим, что я побежден, что мне никогда не быть инженером. Я ведь приехал в Нью-Йорк по своей воле, я хотел добиться многого. Лихой парень — вот кто я был.

Рассказывая, он медленно ходил по комнате, засунув руки в карманы, ссутулившись, и смотрел себе под ноги. А она вни-

мательно слушала, сидя боком на стуле, обхватив себя за плечи.

— Мне надо рассказать вам о том, что произошло прошлой зимой, за несколько месяцев до того, как я стал безработным. Все это покажется вам довольно неблагоприятным, и, может быть, вы не захотите мне поверить, но все произошло так, как я вам расскажу.

Нам попалась одна работа, какая редко бывала. Мастерская наша находилась на 3-й авеню, но как раз в том месте, где проходит, можно сказать, граница между бедным районом и Золотым берегом. Однажды нас позвали в один роскошный дом на 70-й улице. Хозяин купил какую-то ультрафиолетовую лампу, чтобы загорать зимой в Нью-Йорке и не ездить для этого во Флориду. Так вот, нужно было поставить розетку в ванной комнате, чтобы включать эту самую лампу. Фамилия хозяина — Грейвз. Это вам что-нибудь говорит?

Она покачала головой.

— Мне это тоже ничего не говорило, да и сейчас ничего не говорит. Хозяин рассказывал, что о Грейвзе часто писали в светской хронике, в газетах. Не то чтобы хозяин сам читал светскую хронику, но в общем он все о них знал.

Работа была легкая. Правда, мы три дня ходили в этот дом, но только потому, что работали по часу в день, чтоб не мешать хозяевам. Нам пришлось прорубать дырку в стене ванной комнаты на втором этаже, вырубить канавку, проложить провод и присоединить розетку.

Так вот, это был старый дом, и стены там толстые. Я никогда не видел таких толстых стен. Однажды, когда я работал один — хозяин мой пошел за чем-то в мастерскую, — я рубил стенку и ударил по чему-то деревянному. Я не знал, что это, и немного изменил направление, чтобы не попортить дерево. И все.

На следующий день, кажется, это было на следующий день, кто-то вошел в соседнюю комнату, когда я возился в ванной. Соседняя комната — это что-то вроде библиотеки или кабинета. Человек находился там минуту или две. Дверь в комнату была открыта, и я увидел этого человека — напротив двери висело зеркало. Он стоял у той самой стены, в которой с другой стороны я вырубал углубление. Он отодвинул кусок панели — там на стенах до середины деревянная панель — и повернул ручку на дверце сейфа, сделанного в стену. Маленький такой сейф... Он открыл дверцу, выдвинул ящик и начал доставать оттуда деньги.

Я не стал смотреть, меня это не интересовало, и вернулся к своей работе. Я понял: должно быть, задняя стенка сейфа выходит в ванную комнату. На нее я и наткнулся накануне. Больше я об этом не думал. Можете мне не верить, я не буду винить вас, если вы мне не поверите.

Она сказала:

— Когда вы сказали, что вы из Глен-Фолза, я сначала не поверила вам. Если это оказалось правдой, так почему же не может быть, что вы и сейчас говорите правду?

— Дальше вам поверить будет труднее. Сам не знаю, как

это случилось. Знаю только, что случилось. Будто не я все делал...

Так вот. Внизу, в холле, около входных дверей стоял маленький столик. Я обычно оставлял возле этого столика свой ящик с инструментами; с собой я брал только то, что нужно для работы. Когда мы закончили проводку и вернулись в мастерскую, я стал доставать инструменты из ящика и вдруг увидел... Может быть, кто-нибудь уронил в ящик?.. Служанка, которая открывала нам двери, была такая странная. Может быть, она это сделала, когда смахивала пыль со стола. Клянусь вам, я не знаю, как это попало в ящик!

— Что именно? — спросила она.

— Ключ от входной двери.

Она посмотрела на него долгим, внимательным взглядом.

Он снова заговорил:

— Я не знаю, как он попал туда. Я и не знал о нем, пока не увидел в мастерской... — Он беспомощно развел руками. — Мне, конечно, никто не поверит.

— Час назад я бы не поверила, — призналась она. — А теперь... Не знаю. Ну, продолжайте.

— Рассказывать осталось немного, сами можете догадаться. Я хотел отдать ключ хозяину, он уже ушел домой. Можно было пойти и отдать этот ключ служанке. Но было уже поздно, я устал и хотел есть. И я решил занести ключ на следующий день — обязательно. Но назавтра я с восьми утра до позднего вечера работал, не мог вырваться ни на минуту. А на третий день я просто забыл. Ну — совершенно забыл!

Потом, как я вам говорил, работа кончилась, и я остался на мели. Все мои сбережения разошлись и... Короче говоря, вчера я вынул свой ящик с инструментами и посмотрел, не могу ли я что-нибудь продать или заложить. Кроме этих инструментов, у меня уже все было продано. Я полез в ящик — и нашел этот ключ. Увидел его и вспомнил, откуда он.

Я положил его в карман, привел себя немного в порядок и пришел к тому дому, на 70-ю улицу. Я думал, что, когда верну ключ, может быть, мне дадут какую-нибудь работу — ну, хоть перегоревшие лампочки заменить.

Я пришел и позвонил. Никто не вышел. Я звонил и звонил... Было это днем. Я слонялся вокруг дома, размышляя, что делать. А потом из соседнего дома вышел парнишка и заметил меня: заметил, что я смотрю на этот дом, жду. И он мне сказал, что дома никого нет, что они все выехали в свою загородную виллу. Я его спросил, почему же они не закрыли ставнями двери и окна в нижнем этаже, как это в таких случаях делается. Он сказал, что кто-то из семьи остался на несколько дней в городе. Наверно, когда он уедет, тогда дом и запрут как следует. Я спросил парнишку, когда мне лучше всего прийти, чтобы застать этого человека. Он точно не знал, но посоветовал попробовать вечером.

И я вернулся к себе в комнату и обождал до вечера. И вот, пока я ждал, эта мысль начала расти во мне. Вы понимаете, мне не надо вам говорить, о чем я думал...

— Понимаю, — согласилась она.

— Эта мысль росла и росла. Это очень плохо. Такие мысли

как сорняки — их трудно вырвать, когда они пустят корни в почву — в тебя. А все вокруг помогало расти этим сорнякам, если можно так сказать. У меня не было ни единого цента. Уже двое суток — двое суток! — я ничего не ел. Когда ничего нет, и нет денег, не на что купить даже кофе и булку... Становится очень трудно, — просто сказал он.

Помолчав, продолжал:

— Две недели я прятался от хозяйки, чтобы меня не вышвырнули из комнаты. Я мог оказаться без крова в любую минуту... Ну вот, и эта мысль росла, как сорняк. А я сидел весь день на кровати и подкидывал ключ...

Около семи часов, когда уже стемнело, я вышел и направился туда во второй раз. — Он мрачно усмехнулся. — Больше я не говорю ни о каких извиняющих обстоятельствах. Все остальное вы можете слушать, не делая мне скидки.

Я подошел к дому и увидел, что в нижних комнатах горит свет. Значит, я пришел вовремя. Ведь я пришел, чтобы застать этого человека дома. А перед дверью стояло такси. И пока я стоял и смотрел, свет погас. И минуту спустя из дома вышли двое — мужчина и девушка — и направились к такси.

Они не спешили. Я мог подбежать к ним или крикнуть, и они остановились бы...

Я не мог сдвинуться с места. Я стоял, молчал, смотрел и ждал, пока они уедут. Они уходили на весь вечер: на ней было длинное платье, а на нем смокинг. Когда люди так одеты, они не возвращаются домой скоро.

Они сели в машину и уехали. И я ушел тоже. Я шел и ощущал ключ в кармане, и боролся с этой мыслью. Я подошел к дому с другой стороны, а потом вернулся и снова обошел квартал в другом направлении.

Я боролся изо всех сил, даю вам слово! Но, наверное, сил было маловато. Два дня у меня в желудке ничего не было, а на голодный желудок бороться трудно...

Я не взял с собой ящика с инструментами, но у меня в кармане была парочка легких отверток — как раз то, что нужно. На этот раз вам не придется напрягать свое воображение: они не случайно попали ко мне в карман.

Я даже бросил ключ в уличную урну, чтобы убить соблазн. Но ничего не вышло. Через две минуты я сдался — вернулся и достал ключ. И подошел прямо к двери. В общем я проиграл бой. И сначала я даже очень хорошо себя чувствовал оттого, что проиграл, не обманывайтесь на этот счет. — Он рассмеялся, и в его смехе была горечь. — А остальное уже нечего рассказывать: все понятно. Я все же позвонил в дверь — в последний раз, на всякий случай. Я знал, что никого там нет. Потом открыл ключом дверь. Она открылась сразу, они даже не смешили замок. А может быть, они и не заметили, что потеряли ключ, не знаю.

Я поднялся по лестнице, вошел в кабинет, или как там называется эта комната, и прошел в ванную. Включил лампочку, не опасаясь: внешнего окна там не было, света никто не мог увидеть. Идиотский сейф, такого, наверно, нигде больше нет! Только дверца и рамы были стальные, а все остальное — из дерева. И когда я оторвал заднюю панель, все открылось, про-

тяни руку — и вынимай ящик!.. Может быть, с лицевой стороны этот сейф и трудно открыть, но ведь никто не предполагал, что его будут открывать с задней стороны.

Он был набит бумагами и всякими дорогими вещами, но меня ничто не интересовало, кроме денег. Я оставил все драгоценности, сувениры и акции, которые там были. Ничего не тронул. Потом я задвинул ящики, навел порядок — убрал штукатурку с пола, подвинул занавеску, которая висела над душем, так, чтобы она закрыла дырку, которую я пробил в стене. Если он войдет в ванную сегодня вечером, то, вероятно, ничего и не заметит. Он ничего не заметит до утра, пока не отдернет занавеску, когда будет утром принимать душ.

Ну, вот и все. Я выключил свет, спустился вниз, вышел, запер дверь и быстро ушел.

И сразу же началась расплата. Господи, как мне пришлось расплачиваться! Не успел я потратить и пяти центов из этих денег, не успел уйти за квартал от этого дома, как уже расплачивался! До сих пор у меня не было работы, не было денег, но я мог смотреть всем прямо в лицо. Я был хозяином улиц, больше, правда, у меня ничего и не было, но улицы-то по крайней мере принадлежали мне! А теперь вдруг их у меня отняли. Оставаться на улице слишком долго стало опасно. Мне казалось, что люди смотрят на меня пристально, что они опасны, что за ними нужно бдительно наблюдать. А люди, которые шли сзади!.. У меня плечи дергались, я все ждал: вот-вот чья-то рука опустится мне на плечо...

Теперь, когда у меня были деньги, я не знал, что с ними делать. За полчаса до этого мне были так нужны сотни вещей, что я бы отдал за любую из них руку, а теперь я ни об одной не мог вспомнить.

Теперь оказалось, что я даже не голоден. Я вошел в самый шикарный ресторан, какой только мог разыскать, по-настоящему шикарный ресторан, и заказал все меню. Я давно мечтал это сделать. Пока еще заказывал, все было великолепно, но когда мне начали приносить еду, что-то случилось. Я ничего не мог проглотить. Когда я хотел положить в рот кусок, у меня вдруг возникла мысль: «Это твое будущее; ты ешь годы своего будущего». И еда застревала в горле...

Через некоторое время я не выдержал. Я взял из одной пачки денег пятидолларовую бумажку, положил ее на стол, поднялся и вышел, не дождавшись, пока мне принесут остальные блюда. На улице я подумал, что, когда у меня было только десять центов, но собственных, честно заработанных десять центов, мне нетрудно было глотать кофе и булку, купленные на эти десять центов. По правде говоря, сразу же после того, как я выпивал кофе и съедал булку — на большее не хватало, — я мог есть еще и еще...

И опять я пошел по улице. Люди смотрели на меня подозрительно. Я шараялся от шагов за спиной...

За мной уже два квартала шел какой-то парень. Мне это очень не нравилось. Он шел, упорно шел за мной... Я услышал музыку из открытых окон дома и, когда он обернулся, перебежал через улицу и зашел в дансинг. Мне казалось, что это подходящее место — там можно немножко побыть, не мозя

никому глаза, и не бродить по улицам. Я купил вагон билетов, чтобы хватило на долгое время. Потом я огляделся, и первая девушка, которую я увидел, — он нахмурил лоб и посмотрел на нее, — это были вы.

— Это была я, — повторила она, задумчиво водя рукой по краю стола; медленно, взад и вперед, по краю стола.

Оба молчали.

— И что вы будете теперь делать? — спросила она наконец.

— А что я могу делать? Ждать. Буду ждать, пока они меня не поймают. Они всегда ловят преступников. Он узнает об этом часов в девять или в десять, когда пойдет умыться. И, наверное, тот парнишка вспомнит, что кто-то слонялся у дома накануне днем. И каков этот «кто-то». Затем мой прежний хозяин скажет им, кто я такой и где я живу. Это не займет слишком много времени, они все узнают обо мне и поймают меня. Завтра, послезавтра, к концу недели. Какая разница? Они всегда добиваются своего. Раньше я об этом не подумал, об этом начинаешь думать потом. Теперь это «потом» наступило для меня, и я об этом думаю.

Бессмысленно уезжать из города или прятаться где-нибудь — из этого никогда ничего не выходит. Не выходит у маленьких людей, таких, как я, которые делают это в первый раз. Тебя поймают. Поймают, где бы ты ни был — здесь или в другом месте. У них длинные руки, и бессмысленно пытаться ускользнуть от них. Мне надо просто обождать здесь, в Нью-Йорке...

Он сидел, уставившись в пол, с печальной улыбкой побежденного. Он словно пытался понять, как все это произошло. И никак не мог понять.

Что-то в нем тронуло ее. В нем была какая-то беспомощность, беспомощность человека, опустившего руки, и это тронуло ее.

«Мальчик из соседнего дома! — думала она с горечью. — Вот кто он. Он не вор, не проходimeц, посещающий дансинги, он просто тот мальчишка, стоящий на соседней веранде, которому ты машешь рукой, когда выходишь из своей калитки, или тот, который иногда прислонит свой велосипед к забору и поговорит с тобой — с открытой, широкой улыбкой на лице. Он приехал сюда, чтобы стать инженером и совершать большие дела, чтобы победить город, но город, конечно, победил его».

Она подняла голову. Подвинула свой стул. Она переступила какую-то невидимую границу, отделяющую пассивного слушателя от активного участника. Она внимательно посмотрела на него — мгновение, чтобы понять, что она сама собиралась сказать.

— Послушай, — сказала она наконец, — у меня есть план. Что, если мы оба вернемся туда, где нам и следует быть, — домой? Вернемся туда, откуда мы приехали? Попробуем, еще один шанс? Сядем на этот шестичасовой автобус, на который я одна никак не могу сесть!

Он не отвечал; она наклонилась к нему.

— Неужели ты не понимаешь, что это необходимо сделать — сейчас или никогда? Неужели ты не видишь, что делает с нами город? Неужели ты не понимаешь, чем мы станем через год, даже через полгода?! Тогда будет поздно, тогда уже нечего

будет спасать. Просто будут два других человека — с нашими именами, но это уже будем не мы...

Его взгляд скользнул по пачкам денег, лежащим на столе.

— Для меня уже слишком поздно. Я опоздал на несколько часов, всего на полночи. Но это все равно, что целая жизнь.

И он повторил то, что сказал прежде:

— Жаль, что я встретил тебя сегодня, а не вчера!.. Почему я не встретил тебя вчера, до всего этого!.. Теперь уже ничего не выйдет. Они просто будут ждать меня у остановки автобуса, там, в Глен-Фолзе. К тому времени как мы приедем, они будут знать, кто я и откуда; они будут искать меня там, когда увидят, что меня нет здесь. И я только втяну тебя в это дело, если поеду с тобой. Люди там, дома, — те самые, которые не должны об этом знать, — они увидят собственными глазами, как это произойдет... — Он покачал головой. — Ты поезжай. Я свой шанс потерял, а у тебя он еще есть. Поезжай прямо сегодня; ты права — здесь плохо, поезжай сегодня же, прежде чем ты опять поддашься. Если хочешь, я пойду с тобой к автобусу, провожу тебя, прослежу за тем, чтобы ты уехала.

— Я не могу! Я ведь тебе говорила: я не могу уехать одна. Город слишком силен, чтобы с ним бороться. Я слезу на первую же остановке и вернусь. Я не могу уехать без тебя — наверно, так же, как не можешь и ты без кого-нибудь вроде меня. Ты — моя последняя соломинка, а я — твоя. Мы встретились, и я это поняла. Отказываться от этой возможности — все равно что умирать, когда ты еще можешь жить...

Ее лицо молило, глаза не отрывались от его глаз.

— Но ведь они будут ждать меня там. Я знаю, что говорю. Они схватят меня, прежде чем я сойду со ступенек.

— Если ничего не украдено, за что тогда тебя арестовывать?

— Но ведь украдено! Вот они, деньги, перед нами.

— Я знаю. Но еще есть время все исправить. Вот в чем заключается мой план! Это не надо брать с собой, и тогда тебе незачем скрываться.

— Ты хочешь сказать?.. Ты думаешь, что я мог бы?..

Он вскочил. Он боялся разрешить себе надеяться.

— Ты сказал, что он один в доме; ты сказал, что он вернется поздно; ты сказал, что он ничего не обнаружит до утра. — Она говорила без пауз, на одном дыхании. — У тебя этот ключ? Ключ от входной двери?

Он лихорадочно шарил по карманам — быстро, так же быстро, как она говорила.

— Я не помню, чтобы выкидывал... Может быть, я оставил его в двери? — Короткий звук, сорвавшийся с губ, возвестил о том, что ключ найден. — Вот! — И он вытащил ключ из кармана. — Вот, вот он!

На миг их удивило, что ключ нашелся.

— Смешно, что я оставил его, правда? Это что-то вроде...

— Да. — Она понимала, что он имеет в виду, хотя ни он, ни она не могли найти верных слов.

Он снова положил ключ в карман. Она вскочила.

— Ты можешь попасть туда раньше, чем он вернется домой. Войдешь и выйдешь: сколько нужно времени, чтобы положить

их обратно? Тебе же больше нечего там делать. И никто не станет тебя преследовать за то, что ты пробил дырку в стене, раз ты ничего не украл. — Она быстро собрала разбросанные по столу пачки денег. Одна и та же мысль поразила их одновременно. Они в отчаянии посмотрели друг на друга. — Сколько ты уже потратил? Сколько ты взял из этих денег?

Он потер лоб.

— Не знаю. Обожди минуту, я припомню... Пять долларов за обед, который я не съел, долларов на пятнадцать я купил этих билетиков у вас... двадцать. Двадцать долларов, не больше, чем двадцать долларов.

— У меня есть, — сказала она резко. — Сейчас я положу сюда.

Она подбежала к кровати, приподняла матрац с краю, просунула руку в прореху и вытащила деньги, смятые так, будто их пытали.

— О нет! — запротестовал он.

Она снова надела железные латы, в которых была в дансинге.

— Вот что. Я делаю это и не хочу никаких споров. Все должно быть возвращено: даже если там будет недоставать всего одного доллара, юридически — это воровство, и вас могут арестовать. — И прибавила мягко: — Считай, что я тебе эти деньги одолжила. Отдашь, когда вернемся домой и ты начнешь работать. Здесь хватит и на билеты. — Она сунула деньги ему в руку. — Вот! Это теперь наши деньги, общие: твои и мои.

Он посмотрел на нее.

— Не знаю, что и сказать...

— Ничего не говори. — Она села. — Самое главное — выбраться из этого проклятого города сегодня. Обожди минутку, я только надену туфли и положу свои вещи в чемодан. У меня их немного... — Он пошел было к двери. — Нет, не выходи! — быстро сказала она. — Я боюсь, что потеряю тебя.

— Ты меня не потеряешь, — пообещал он едва слышно.

Она застегнула туфли, вскочила, легко пристукнула каблучками.

— Смешно, но я уже не устала!

Он смотрел, как она, не разбирая, бросает вещи в старый, разбитый чемодан, который вытащила из-под кровати.

— А что, если он уже вернулся?

— Не вернулся! Ты должен повторять это, ты должен молиться об этом. Тебя не поймали, когда ты вошел туда, чтобы взять деньги, почему же тебя должны поймать, когда ты идешь, чтобы вернуть их! Он, наверное, развлекается где-нибудь со своей девушкой. Он не вернется до половины четвертого или даже до четырех, — он ведь должен проводить ее домой.

Она села на подоконник и, прильнув к стеклу, посмотрела куда-то вбок, вдаль.

— У нас еще есть время, мы еще можем успеть, еще можем бороться!

— Куда ты смотришь?

Она прыгнула с подоконника.

— На единственное, что есть порядочного во всем этом городе. Единственный друг, который у меня есть. Часы на зда-

нии «Парамоунт», вон там, они меня никогда не подводили, и я знаю, что не подведут и сегодня. Отсюда их можно увидеть, если смотреть в просвет между теми двумя зданиями. Пошли, Куин. Они говорят, что мы еще можем успеть. А они меня ни разу не обманули.

Она захлопнула крышку чемодана; он открыл дверь и пропустил ее вперед.

— Ты все взяла? Не забыла ничего?

— Закрой дверь, — сказала она устало, — я не хочу больше смотреть на эту комнату. Ключ оставь в двери, он мне больше не нужен.

Они пошли вниз по кривым ступенькам. Он нес ее потрепанный чемодан, совсем легкий, в нем почти ничего не было — только разбитые мечты...

Подойдя к наружной двери, они на мгновение остановились. Он протянул руку к двери, она опередила его на мгновение. Его рука легла на ее руку. Секунду они не двигались. Потом посмотрели друг на друга и улыбнулись — искренне, просто, как дети. Он сказал:

— Ох, как я рад, что встретил тебя, Брикки!..

Она сказала:

— Я тоже рада, что встретила тебя, Куин.

Он опустил руку и дал ей открыть дверь — в конце концов ведь до этого момента дом был ее...

ДВА ЧАСА

Улица была пуста, ничто не шевелилось, не встретилось даже кошки, обнюхивающей мусорный ящик.

Сюда они шли как чужие; каждый был занят своими мыслями. Теперь они шагали плечо к плечу. Он взял ее руку и прижал к себе, как бы защищая.

Приподнял шляпу жестом насмешливого прощания, вовсе не скрывшим его волнения:

— Прощай, Нью-Йорк!

Рукой она закрыла ему рот:

— Тс!.. Тише! Город еще может нас обмануть.

Он посмотрел на нее, чуть улыбаясь.

— А ведь ты говоришь наполовину всерьез.

— Гораздо серьезнее, чем ты думаешь, — сказала она.

На углу он остановился и поставил чемодан.

— Тебе лучше подождать меня на автобусной станции. Я пойду один. А на станции мы встретимся.

Она крепче сжала его руку — судорожно, будто боялась потерять.

— Нет, нет! Если мы разделимся, город опять займется своим грязным делом. Я начну думать: надо ли ему доверять? И ты будешь думать: а могу я довериться ей? И не успеешь оглянуться... Нет, нет, мы продлабем вместе каждый шаг пути.

— А что, если он вернулся домой? Ты только... Тебя забегут за соучастие.

— Ты все равно рискуешь, даже без меня. Мы пойдем на риск

вместе. Погляди, нет ли где-нибудь такси; чем позже мы доберемся туда, тем опаснее...

— На твои деньги?

— Все равно, — ответила она.

Они увидели светящиеся бусинки, катящиеся к ним. Это было такси. Они одновременно подняли руки и бросились к машине, не ожидая, пока она подъедет ближе.

— Отвезите нас на 69-ю улицу, — сказал он. — Я скажу вам, где остановиться. Поезжайте через парк, так будет быстрее.

Они ринулись вперед, на север, затем через самый модный район 57-й улицы и выехали на 7-ю авеню.

— Почему ты сидишь в самом углу? — спросил он.

— Нью-Йорк наблюдает за нами. Каждый раз, когда мы проезжаем перекресток, мне кажется, что за углом, где-то в глубине, есть глаз: мы не видим его, но он следит... Город знает, что мы пытаемся ускользнуть от него, и попытается подставить нам ножку.

— Какая ты суеверная, — сказал он снисходительно.

— Когда у тебя есть враг и ты об этом знаешь, ты становишься не суеверным, а просто осторожным.

Позже она оглянулась и, прищурившись, посмотрела в заднее окно. Там, на западе, башни зданий вставали угрожающе — черные кактусы на фоне низких туч, освещенных отраженным желтым светом города.

— Посмотри, разве он не выглядит злым, жестоким? Разве он не выглядит как зверь, подкрадывающийся исподтишка?

Он усмехнулся, но в словах его не было прежней уверенности:

— Все города выглядят так ночью — темными, неясными, хитрыми и не очень дружелюбными... Я ощущаю то же, что и ты, только я никогда не думал о нем, как ты — словно о живом существе.

Они проехали через Централ-парк, в Восточный район.

Шофер повез их к 72-й улице, повернул, чтобы исправить ошибку, и проехал два квартала по 5-й авеню. Куин остановил машину у 69-й улицы, после того как они проехали лишний квартал, — чтобы шофер не мог определить, куда они направляются.

— Мы сойдем здесь, — сказал он резко.

Они расплатились и подождали, пока машина уедет. Потом пошли к следующему углу, к углу 70-й улицы, свернули и остановились.

Ей очень не нравилось, что приходилось разлучаться даже на короткое время. Но она и не пыталась уговорить его разрешить ей пойти с ним: знала, что он даже не станет ее слушать.

— Отсюда видно — вот, после второго фонаря, — сказал он тихо, оглядываясь, чтобы убедиться, что за ними никто не следит. — На всякий случай ближе этого фонаря не подходи. Стой здесь. Я сразу вернусь. Не бойся, слышишь? Успокойся.

Она боялась не так, как он думал. Он имел в виду: не бойся за себя. Но за себя она не боялась; она испытывала чувство, которого никогда прежде не знала: она боялась за другого — за него.

— Зря не рискуй; если увидишь свет, если поймешь, что он

вернулся, — не входи в дом, просто брось деньги внутрь, пусть он их подберет утром. Не обязательно класть их в сейф. И будь осторожен. Может быть, он уже спит и света нет, а ты не будешь знать, что он дома.

Он уверенным жестом натянул шляпу пониже на лоб и двинулся по безмолвной улице.

Стеклянные входные двери блеснули. Он вошел.

Как только он вошел, она подняла свой чемодан и медленно пошла в том же направлении, хотя он предупредил ее, чтобы она осталась там, где стояла. Она хотела быть как можно ближе к нему. Она все время думала о нем. Можно сказать, что она молилась за него.

Она заметила, что бессознательно заложила один палец за другой, как делала в школе во время экзамена.

Она дошла до дома. Прошла мимо, не останавливаясь, чтобы не привлечь внимания. Маленький тамбур между внешней, стеклянной дверью и внутренней был пуст — она увидела это при свете уличного фонаря. Он вошел внутрь и закрыл за собой дверь.

«А что, если тот спит сейчас наверху? А что, если Куин не поймет это вовремя? Что, если хозяин проснется и обнаружит его?» Она пыталась отмахнуться от этой страшной мысли. ...Ведь ничего не случилось, когда он вошел туда в тот раз. Почему же должно что-то случиться сейчас, когда он вошел с честными намерениями?

«Город... Это будет очень похоже на город! Город, оставь его в покое, ты меня слышишь? Оставь его в покое! Ты меня понимаешь?»

Она уже прошла довольно далеко, вернулась. Ничего не случилось — никаких криков, не загорается свет в верхнем окне, значит, ничего не случилось. Скрещенные пальцы затекли. Она была похожа на пикетчицу, которая не допускает сюда город, — верную, отважную пикетчицу, не имеющую никакого оружия, кроме легкого чемодана в руке.

Она изо всех сил пыталась быть спокойной, но в ее сердце разбушевалась буря. Это занимает больше времени, чем нужно. Даже если не зажигать света, это не может занять столько времени — подняться наверх, на второй этаж, и спуститься вниз. Он должен выйти, он должен уже выйти! Он вошел в чужой дом незаконно, пусть даже для того, чтобы вернуть деньги, и если его поймают, как он сможет доказать, что он возвращал деньги, а не брал? Может быть, следовало отправить их почтой, а не возвращаться самому? Они об этом не подумали — ни он, ни она. Очень жаль, что они об этом не подумали.

Внезапно впереди, на углу, появилась какая-то фигура. Полицейский обходил свой участок. Брикки быстро свернула в какую-то нишу. Слишком она подозрительна — слоняется по улице в такой час, с чемоданом. Если он пойдет в эту сторону... Если Куин выйдет, когда он стоит там, на углу.. Ее сердце не просто билось, оно раскачивалось из стороны в сторону и делало «мертвую петлю», полный круг, как маятник, сошедший с ума.

Сверкнул металл — полицейский открыл ящик стеного те-

лефона. Так вот что он делает! Звук его голоса был слышен в тихом ночном воздухе. Она уловила: «Репортует Ларсен. 2.15» — и что-то еще. Телефонный ящик снова захлопнулся. Она прижалась к стене, боялась выглянуть и посмотреть, в какую сторону он пойдет, боялась, что он пойдет мимо нее. Она услышала его тихие шаги по тротуару и догадалась, что он переходит улицу. А затем все исчезло, даже эти слабые звуки исчезли. Она выглянула. Улица была пуста.

Она вышла на тротуар.

Что там случилось? Что произошло, почему он так долго? Он давно должен был выйти!

Когда она поравнялась с домом, наружная дверь бесшумно открылась, и он вышел. Дверь за ним снова закрылась, но он не сразу двинулся с места: стоял и смотрел на нее так, будто не видел или видел, но не узнавал.

Затем стал спускаться со ступенек. Что-то случилось. Он шел слишком медленно. Слишком медленно и оцепенело, словно не понимая, где он. Нет, не в этом дело: будто... будто нет разницы — вышел он из дому или нет.

Дважды он остановился и посмотрел назад, на дверь. Он почти качался. Она подбежала к нему. Даже в темноте она видела, как он бледен и напряжен.

— Что случилось? Почему ты оглядываешься?

Он смотрел на нее пустыми глазами. Она бросила чемодан и потрясла его за плечи:

— Говори, не стой так! Что там случилось?

Он молчал. Наконец ответил через силу:

— Его там убили. Он мертвый. Он лежит там мертвый.

Она захлебнулась:

— Кто? Человек, который тут живет?

— Да, наверно, это тот человек, который выходил отсюда вечером. — Он потер рукой лоб.

Она прислонилась к каменной балюстраде.

— Это он сделал, — сказала она мертвым голосом. — Я так и знала, что он это сделает. Я знала, что он не даст нам уехать; он всегда так. Теперь он схватил нас прочно, крепче, чем прежде.

Апатия продолжалась всего мгновение: ведь город еще и учит, как бороться, он учит многим плохим вещам, но может научить и одной хорошей — умению бороться. Он всегда пытается убить тебя, а тебе надо научиться бороться за свою жизнь.

Она сделала движение — внезапное, резкое: повернулась, чтобы подойти к двери. Он схватил ее.

— О нет, ты туда не пойдешь! — Он пытался оттащить ее. — Быстро убирайся отсюда! Тебе надо уйти! С самого начала я должен был запретить тебе приходить сюда. Иди на станцию, купи себе билет, сядь в автобус и забудь, что ты меня встретила. — Она пыталась высвободиться. — Брикки, послушай меня! Уходи отсюда — быстро, пока они...

Он пытался толкать ее перед собой, но она вырвалась и пошла к нему еще ближе, чем прежде.

— Я хочу знать одно: это ведь не ты? Когда ты приходил сюда в прошлый раз, ты ведь этого не сделал?

— Нет! Я только взял деньги, вот и все; его там не было. Я совсем его не видел, он, должно быть, вернулся после того, как я ушел. Брикки, ты должна мне верить!

Она грустно улыбнулась ему в полумраке:

— Ну, хорошо, Куин, я знаю, что это не ты. Я знаю, что мне даже не следовало спрашивать.

Мальчишка из соседнего дома... Он никогда никого не убьет...

— Я теперь не могу вернуться домой, — пробормотал он. — Я конченный человек; они будут думать, что это сделал я. Слишком уж все совпадает; они будут ждать меня там, когда мы приедем. И если уж это должно случиться, пусть лучше случится здесь, а не там, где все меня знают. Я остаюсь. Я буду ждать, но ты... — Он снова попытался подтолкнуть ее. — Пожалуйста, уходи, я прошу тебя, Брикки! Пожалуйста!

— Ты ведь не сделал этого, правильно? Тогда оставь меня в покое, не толкай меня. Куин, я иду туда с тобой! — Она вызывающе выпрямилась, но вызов относился не к нему; она осмотрелась вокруг. — Мы ему еще покажем! Мы еще не побеждены, время у нас есть — срок истекает на рассвете. Пока никто ничего не знает, иначе здесь было бы полно полиции. Не знает никто, только мы и тот, кто это сделал. У нас еще есть время. Где-то здесь, в проклятом городе, есть часы — мой друг: они говорят сейчас — пусть мы их не видим отсюда, — они говорят, что у нас еще есть время, не столько, сколько было, но немного есть. Не останавливайся, Куин, не останавливайся. Никогда не бывает слишком поздно — до самого последнего часа, до последней минуты, до самой последней секунды.

Она вновь трясла его за плечи, но на этот раз не для того, чтобы вытянуть из него что-то, а чтобы вложить.

— Пошли! Войдем в дом и посмотрим, не можем ли мы что-нибудь сделать. Мы должны пойти, это наш единственный шанс. Мы хотим поехать домой. Ты знаешь, что мы хотим поехать домой, мы боремся за наше счастье. Куин, мы боремся за нашу жизнь, и чтобы выиграть это сражение, у нас есть время только до шести часов утра.

Она едва услышала его ответ:

— Пошли, Брикки...

Ее рука бессознательно проскользнула под его локоть — и для того, чтобы придать ему храбрости, и для того, чтобы стать смелее самой. С очень странным, очень официальным видом входили они в дом — медленно, и упрямо, и очень храбро — туда, где была смерть.

(Продолжение следует)



Б. СЛУКИН,
Е. КАРТАШЕВ



ЮМОРЕСКА

Все началось с той субботы, когда мы с Зиночкой не успели поссориться до конца рабочего дня и против обыкновения вышли из института вместе. Мы работаем в лаборатории кибернетики и занимались тогда моделированием механизма наследственности. Девушка пыталась скопировать молекулу ДНК — дезоксирибонуклеиновой кислоты, а я хотел выдумать что-нибудь пооригинальнее. Ведь нельзя слепо подражать природе! Не всегда в ней все совершенно. Вот тут-то мы и начинали ссориться. Потом, наговорив друг другу множество неприятных слов, уходили после работы по разным лестницам.

В тот раз почему-то обошлось без ссоры. Мы шли по бульвару. Была весна. Самая обыкновенная весна. Девчонки, сняв пальто, играли в классы, мальчишки испытывали новые рогатки, а свежавыкрашенные скамейки красили неосторожных влюбленных.

Мы молчали и шли. Шли и молчали.

- Знаешь, — вдруг сказала она, — а мне нравится...
— Кто?!
— Нравится, как у тебя выходит схема.
— К черту схемы! Весна тебе нравится? Солнце тебе нравится? — Я чуть не закричал.
— А что? В общем нравится.
— А стихи? — с отчаянием спросил я.
— Ну, и стихи...
— Хочешь, я тебе прочту?
— Чьи?
— Мои.
— Твои?! Ты пишешь стихи?

Я начал:

Ты ушла, и мы расстались.
И один остался я.
Мы с тобою не встречались.
Ты моя и не моя...

— Муть! — сказала Зиночка коротко. — Слюнтяйство!
Тогда я решил прочесть ей свои «программные»:

Миллиарды живых клеток
В птицах, что слетели с веток.
В них наследственность пока
Переносит ДНК.
Но природе тут сказал я:
«Потеснись-ка ты, каналья!
Замену я ДНК
Киберсхемой Степчука!»

Степчук — это моя фамилия. Я вставил ее потому, что никак не мог подобрать рифму к «ДНК».

Зиночка прямо вцепилась в мой рукав:

— Здорово! Физик и лирик. Молодец! Как из газеты.

«Как из газеты!» Мне представился развернутый газетный лист с колонками стихов, портретом и закорючками моего факсимиле. И она это увидит...

— Как ты думаешь, — осторожно спросил я ее, — а могли бы это напечатать в газете или, скажем, журнале?

— Наверняка! — безапелляционно заявила Зиночка. — О кибернетике поэты еще не писали.

...Как только ненасытный ящик проглотил мой конверт, я потерял покой.

Вы писали стихи? Да? А в газеты вы их посылали? Ах, нет. Тогда вы не представляете, как это мучительно — ждать! Каждый день вы лихорадочно раскрываете газету и медленно сворачиваете ее. Вас спрашивают: «Есть?» А вам до смерти надоело говорить «нет». И вы молчите. А через месяц приходит голубой пакет, в нем маленькая бумажка.

«Уважаемый товарищ Степчук!

Получили ваши стихи. В них чувствуется большая любовь к своей работе, желание открыть неизведанные глубины науки. К сожалению, стихи ваши напечатать не имеем возможности. Учитесь у старших товарищей поэтов. Присылайте ваши новые произведения. С лит. приветом». Подпись неразборчива.

«Присылайте!» Иногда говорят: «работа закипела». У меня она забурилась. Даже выработался определенный цикл: неделю пишу, неделю рассылаю, неделю жду, а потом снова пишу.

Стихов не печатали, но письма из редакций приходили целыми пачками. Желая получить о моих стихах какое-то среднее мнение, я решил использовать законы математической статистики: раскладывал письма по кучкам в зависимости от содержания. Одни рецензенты советовали глубже вникать в жизнь, другие — учиться у классиков, третьи... А, что там третьи, когда попадались и такие:

«Тов. Степчук! Мне не приходилось заниматься кибернетикой, но я знаю много поэтов и хочу сказать прямо: из вас поэта не выйдет! С приветом».

В общем я еще раз убедился: сколько людей, столько и

мнений. Как же получить среднее объективное мнение? И вдруг неожиданно для себя пришел к выводу: человек ошибается, не ошибается только машина. Да, да! Только машина может высказать самую объективную точку зрения, ведь она не имеет ни плохого, ни хорошего настроения. Все имена и авторитеты для машины — пустой звук. Никакая тетя Сима, никакой дядя Коля не в силах повлиять на решение, выработанное машиной-киберредактором. Или нет, лучше киберкритиком...

Вот было бы здорово! Я — стихи, машина — оценку; я их в редакцию — мне говорят: не подходит, слабо. Я оценку киберкритика на стол: вот, дескать, полная беспристрастность, сто процентов объективности!

Я взял за основу первую попавшуюся читающую машину. Нужно было, чтобы она прочла стихи и поставила им оценку. Например, по пятибалльной системе. Черт возьми, но как же их оценивать? Пришлось покопаться в теории литературы. Чего только я не узнал нового! Ямбы и хорей я помнил еще из школьных уроков. А амфибрахий, анапест, дактиль! Какие-то жуткие, ящероподобные слова!

Вскоре на переднем пульте машины появились две шкалы с ручками для регулировки размера и рифмы.

Первыми я решил испытать какие-нибудь стихи Пушкина. Например:

Мой дядя самых честных правил,
Когда не в шутку занемог...

И для сравнения знаменитый «Чижик», тот самый:

Чижик-пыжик, где ты был?..

Перепечатанные тексты я засунул в машину и уставился на мигающие лампочки. В машине что-то урчало и булькало. «Не понравился «Чижик», — подумал я. Бац! Из гнезда выскочил лист с оценками. Пушкин: рифма — 5,0; размер — 3,8; в среднем — 4,4. «Чижик»: рифма — 4,95; размер — 4,9; в среднем — 4,9.

Я так и сел. Критики, критики, где вы были до этого? Почему не заметили этого шедевра? «Чижик» лучше «Онегина»! Вот тебе и объективность!

Я принялся искать причину ошибки. Во-первых, при перепечатывании стихов я пропустил букву «а» в слове «правил». Во-вторых, стихи Пушкина не совсем подчинялись законам четырехстопного ямба. Были пропуски ударений; потом я узнал, что они называются пиррихиями. Эти самые пиррихии я не учел и настроил машину на точный четырехстопный ямб. Рифмы же у Пушкина были идеальные. С размером «Чижика» все обстояло почти благополучно. Зато рифма «был — пил» неточная. Но в целом... Значит, машина в порядке. Ей только не хватает поправки на пиррихии и еще чего-то. Чего же?..

Через неделю на машине появилась шкала «смысловая характеристика». Но и этого оказалось мало. Нужны были чувства!

Блок «эмоций и темпераментов» киберкритика уже не по-

мешался в корпусе читающей машины, и я поставил его между столами — моим и Зиновкиным. Для расчета этого блока потребовалось составить статистические таблицы... темпераментов. Я сосчитал, сколько на земле сангвиников, меланхоликов, флегматиков, холериков, и выяснил, как они оценивают стихи и прозу. Одних флегматиков набралось на целый том.

Машина росла, как побеги бамбука. Ее уже нельзя было скрыть от любопытных, в первую очередь от Зиновки. Ей я рассказал все. Не знаю, говорила ли она кому-нибудь, но в комнате постоянно толклись какие-то типы из соседних лабораторий, приставали с вопросами. Я злился и отмахивался — не гнать же их в шею. Раз два заходил даже сам Иван Гаврилыч. Он ничего не расспрашивал, ему, как всегда, все было ясно. У него мог появиться единственный вопрос, но я предупредил его, сказав, что делал машину в нерабочее время.

Когда мне показалось, что все уже готово, я принес на работу свои стихи и разом сунул в «приемную» киберкритика. Оценки выскакивали почти мгновенно: 3,1... 2,9... 2,8... 2,2... И далее в том же духе. Испортилась! Я с досады чуть не плюнул. Потом взял для проверки Лермонтова — 4,95. Взял Некрасова — 4,98. Маяковский — 4,87 (здесь, наверное, машину смутили неологизмы). Попробовал Твардовского — 4,93. Бальмонт — 4,20! А у Степчука снова — 3,0... 2,8... 1,9... 2,1... В общем сплошь в мусорную корзину!

Неделю я даже не смотрел на машину, я писал стихи. На восьмой день я погладил киберкритика по шершавому боку и опустил свои новые творения.

— Ну, дружище, давай, только пообъективнее.

Машина, как мне показалось, участливо помигала и выбросила оценки. Они были еще ниже.

— У, людоед! — прошипел я.

На моем столе лежала газета. Красным карандашом была обведена заметка под рубрикой «В лабораториях ученых». Я увидел там свою фамилию и стал быстро читать: «Молодой ученый Г. Степчук сконструировал замечательную машину — кибернетического литературного критика... Для того чтобы сделать ее, ему потребовалось решить целый ряд инженерных, конструкторских и литературоведческих вопросов... И вот все позади. Так называемый «киберкритик» создан. Он испытан на большом литературном материале: Пушкин и Лермонтов, Некрасов и Маяковский, Блок и Есенин. Для оценки правильности работы машины Г. Степчуку пришлось самому сочинять заведомо плохие стихи... Эта машина окажет неоценимую услугу редакторам журналов и газет для предварительной и объективной оценки поступающих от авторов литературных произведений... Пожелаем же молодому ученому...»

Дальше меня уже не интересовало.

Заведомо плохие стихи! Как понять? Как расценить?

...Говорят, я расценил правильно: стихов больше не пишу.

СХВАТКА С ОБОРОТНЕМ

ОБ ОТЧАЯНИИ...

Взвалив на спину мешок с тонкотертой глиной, в которую были примешаны споры бациллыса дендролимуса, Василий Петрович потащил его из самолета.

Летнаб, взявшийся помогать, скинул крафтмешок с плеча на штабель.

— Осторожней, Неудачин, — усмехнулся Плугарь. — А то ушибешь бактерии, они сами заболеют.

— Ну ты этим не шути! — сказал Неудачин. — Сглазишь!

— Суеверный?

— Нет, но этим не шути.

Разместились в крайнем домике заброшенного поселка. Вечером баки самолета заправили глинистой суспензией со спорами дендролимуса.

Все было готово к опыту.

Утром над зафлаженными участками лиственничной тайги, где пировал шелкопряд, пролетел самолет, оставляя за собой светлое, быстро таявшее облачко.

Потом сделал еще и еще заход.

Дендробациллин пошел в атаку.

После обеда Иван Семенович Неудачин зашел проститься и пожелать успеха. Он долго тряс Талаеву руку.

— Интересно, как у вас пойдут дела. Разрешите наведываться?

— Сделайте одолжение. Может, почта будет — подкиньте.

Талаев и Плугарь остались одни.

Потянулись дни ожидания.

По утрам Василий Петрович и Плугарь отправлялись в тайгу. Прямо от двери расходились в разные стороны. Вышагивали километров по тридцать. Встречались либо вечером, либо через сутки.

Спрашивали друг друга:

— Как дела?

— Никак...

Плугарь вежливо добавлял:

— Видимо, рано еще.

Окончание. Начало см. в «Искателе» № 1 (13).

Садись ужинать. В ватных телогрейках, болотных сапогах, заросшие бородами, с лицами, распухшими от укусов гнуса, принимались за еду.

Однажды, вернувшись в свой домик на окраине заброшенного поселка, Талаев увидел на столе пакет и записку от Неудачина. Он прилетал днем, когда никого не было. В записке летчик спрашивал об успехах. В пакете оказался американский микробиологический журнал. Его переслала жена, отчеркнув в оглавлении статью Ганса Штейна о бактериологической борьбе с японским жуком в США.

Почти до утра Талаев и Плугарь трудились над переводом. Нового узнали мало. Как и Талаев, Штейн обнаружил разительную бациллу и посыпал зараженные участки леса препаратом. Но сообщение было оптимистичным: опыт удался, жук погибал.

— У него все как у нас — и вот успех! — ликовал Плугарь. — Еще одно подтверждение правильности нашего принципа!

— Вести обнадеживают, — коротко заметил Талаев. — Но наши дела пока неважные.

Утром снова отправились в тайгу.

Прошла неделя. Теперь, встречаясь, они задавали друг другу вопрос по-другому:

— Ни одной?

— Все живы...

— Послушайте, Василий Петрович! — хлопнув себя по лбу, воскликнул однажды Георгий. — Раса-то другая! Ведь у лиственничного шелкопряда, хоть он тоже сибирский, совсем другой образ жизни!

Соскочив с лавки, Плугарь готов был пуститься в пляс:

— Конечно! Другая раса! Другая раса! Смотрите! У кедрового шелкопряда...

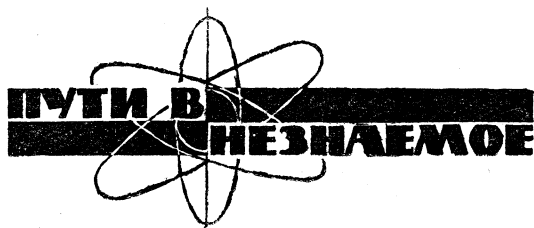
— Это не имеет значения, — прервал Талаев. — На земле четыре человеческие расы. Но все человечество независимо от расового признака болеет пневмонией, которую вызывает пневмококк, холерой, оспой, чумой. Болезни распределяются не по расовому признаку, а по видовому.

Василий Петрович по привычке педагога поднялся и стал прохаживаться, едва не задевая головой низкий потолок.

— Раса шелкопряда здесь ни при чем.

— А если все-таки? А, Василий Петрович? Если!

— Что ж, — сказал Талаев, — проверим ваши предположения. Отберем в садок лиственничного шелкопряда и посыплем



туда из бункера суспензию, которой его опыляли. Если гусеницы умрут — прав я, если нет — ваша правда.

Гусеницы в садке подошли на второй день.

Горячий молдаванин снова и снова повторял опыт. И каждый раз гусеницы листовичного шелкопряда дохли, словно это были самые обычные кедровые.

А в листовичной тайге вокруг тот же шелкопряд, опыленный тем же дендролимусом, не желал погибать. Он выжирает гектар за гектаром. Гибнут квадратные километры строевого леса.

В домике на краю заброшенного поселка двое, встречаясь, продолжали спор.

— Но почему же у Штейна успех! — восклицал студент.

— Очевидно, потому, что японский жук менее устойчив к заражению. Это, во-первых. Во-вторых, физиологический цикл у него годовой, а не двухлетний. И, в-третьих, бактерия, с которой работает Штейн, может быть более сильной, более патогенной, чем та, с которой имеем дело мы. Болезни-то ведь бывают разные.

— Простите, однако сильнее, чем септицемия, болезни для шелкопряда нет.

— Я не нашел. Это разные вещи.

— Послушайте! — опешил его помощник.

— Да. Болезни шелкопряда, встречающиеся в Сибири, я изучил. Почти все. Но, может быть, есть еще какие-нибудь...

— Вы сомневаетесь?

— Это святое право ученого. Но из всех известных болезней септицемия самая губительная.

— Может быть, в той глинистой суспензии, которую сыпали с самолета, концентрация бациллы была меньше? — ломал себе голову Плугарь.

— Все то же, но не все так же... — отвечал Талаев.

— Что же делать? — ерошил темные кудри нетерпеливый ассистент.

— Взять чайную ложку, ведро суспензии, подзывать ласковым голосом каждую гусеницу и вливать ей в рот заразу...

— Мрачно шутите, Василий Петрович!

— Это даже и не шутка, — вздохнул Талаев. — Это называется отсутствием метода борьбы. А я пользовался этой шуткой как методом. Можно помереть и от сала, если есть сало с салом и заедать салом! Мы кормим гусениц в садке именно так.

Плугарь растерянно пожал плечами.

— Что же делать?

Василий Петрович помолчал.

— Думать, — сказал он. — Создать метод. Безошибочный.

Поражение было полным. Ни одной гусеницы шелкопряда не погибло от септицемии, вызванной дендролимусом. Конечно, если не считать тех, что подошли в садках, когда их обкармливали бациллами.

— Таким образом, бациллу дендролимус показал себя как возбудитель очень заразной болезни, — стоя на трибуне

перед коллегами, Василий Петрович собрался с силами, чтобы произнести последнюю, заключительную фразу своего выступления. — Однако мора, эпизоотии не было. Отсутствие метода заражения привело производственный опыт к неудаче...

— К провалу! — послышалось из задних рядов.

Талаев под молчание зала уже спускался с кафедры.

Никто не ответил, не стал спорить. А Василий Петрович считал, что дело не в признании неудачи. Для Талаева важно было другое: отделить свой промах как экспериментатора от бесспорного значения открытой им бациллы.

Сотрудники кафедры микробиологии покидали зал заседаний. Негромко переговаривались.

В коридоре Василий Петрович столкнулся с Болдыревым. Талаеву захотелось поговорить с ним, рассказать о том, как он думает продолжить работу. Но Болдырев куда-то, видимо, спешил. Он рассеянно подал руку и мимоходом заметил:

— Вы, Василий Петрович сделали ловкий тактический ход: обвинили себя и спасли честь дендролимуса.

— Это не ловкий ход. В дендролимуса я верю.

— Но ваше поражение, — глядя прямо в глаза Василию Петровичу, сказал Болдырев, — это поражение и ваше и дендролимуса. Вы, как и я, отброшены на исходные позиции. Д'Эрелль прав, забросив свои работы.

— Прав, по-моему, Мечников, предложивший этот метод. Успех Штейна убеждает меня в этом.

— Штейн сделал то же, что и вы. Но добился своего. Вы — нет. Удача изменила вам.

— Если это была удача, я не жалею, что она мне изменила.

— Дендролимус — не то, что нужно, — сказал Болдырев. — Очевидно, нет на шелкопряда гибели.

— Вы потеряли веру.

— В вас — да, — негромко проговорил Болдырев.

Резко повернувшись, Василий Петрович пошел прочь. Быстро спустился с лестницы и, кое-как накинув пальто, вышел на улицу.

Желтыми шарами висели в морозном тумане фонари. Осторожно, то и дело сигнала, двигались машины. Глухо поскрипывал снег.

Квартала два Талаев прошел быстро, пока не почувствовал одышки. Заметил, что застегнул пальто не на ту сторону, поправил. Вдохнул и, заложив руки за спину, не торопясь отправился домой, радуясь в душе, что Анна Михайловна не была на докладе. Она болела.

Постепенно злость на Болдырева прошла. Владимир Осипович не отступник. Не следовало его так строго судить. Он по-прежнему влюблен в кедр. Болдырев прямолинеен и нетерпелив, как герои сказок о прекрасных плененных принцессах. Тот, кто тотчас не может расколдовать его возлюбленную, для него перестает существовать. Чувство завидное, но не для ученого... Да, Болдырев прав, он отброшен на исходные позиции — в лабораторию. Все придется начинать сначала, как будто и не прошло восьми лет.

Круг света от лампы. В кругу кажущаяся ослепительно-белой страница, покрытая вязью строк. Книги раскрытые, отложенные в сторону, книги с закладками и без закладок. Книги — друзья и советчики, которые поддерживают силы, вселяют уверенность, и книги — враги, которые спорят, отрицают то, за что сражаешься.

Крепко сжатый в пальцах карандаш громко хрустнул — сломался.

Василий Петрович торопливо обернулся. Ночное время, право, не для таких эмоций. Конечно, он, полуночница, снова разбудил жену.

Который раз, которую ночь.

— Чаю хочешь? — спросила Анна Михайловна.

— Спасибо. Не беспокойся.

Жена вышла на кухню.

Василий Петрович выкинул обломки карандаша в корзину и, откинувшись в кресле, стал смотреть в окно.

На морозных рисунках искристо дробился свет луны. Стекла казались голубыми.

Вернулась жена. Поставила на письменный стол стакан с крепким чаем.

— Спасибо, Аннушка.

Она обняла рукой его голову и, улыбнувшись, сказала:

— Что это у тебя за траектории нарисованы?

— Траектории? Нет... Так, рисую.

— Ложился бы. Утро вечера мудренее.

— Тогда пропадет твой чай, — отшутился Василий Петрович, — не напрасно же ты вставала.

— А все-таки, коли дело до траекторий дошло, лучше спать.

«А почему бы и не траектории? — задумался Талаев. — Если достать ракет и вместо осветительного состава наполнить их глинистым порошком с бациллами — чем не выход? Пусть придется обстреливать каждое дерево! Самолета я просить не могу...»

Осветительные ракеты нашлись на биофаке университета. Преподаватель и секретарь партбюро факультета Кирилл Андреевич Громушкин, узнав, в чем дело, отдал Талаеву весь запас. Не было ракетницы. Талаев одолжил ее у летчиков из отряда лесной авиации.

Весной квартира Талаева походила на оружейную мастерскую. Осветительные ракеты приходилось разряжать и набивать заново мешочками с препаратом, устанавливать в каждом патроне дистанционный самодельный взрыватель, используя бикфордов шнур.

В середине июля Василий Петрович выехал в тайгу.

— Добро, — сказал лесничий, к которому приехал Талаев. — Смотреть страшно, как тайга гибнет. А кончился кедр — и зверя нет. Все начисто уходят. Соболя, медведи, лоси. Мертво. А гусеницы и вправду дохнут?

— Должны... — ответил Василий Петрович и почувствовал, что ему неловко перед Воробьевым за свою неуверенность и

страшновато приступать к опытам. Ругнув себя в душе за малодушие, Талаев стал объяснять лесничему, как и почему, по его мнению, гусеницы шелкопряда погибли.

— И опыт уже ставили? Или только пробовать будете? — испытующе глядя на Талаева, спросил Воробьев.

— В лабораториидохнут, как одна. А вот в тайге — нет.

— Вон оно что!

— Они должны подохнуть. Просчет где-то есть.

— Что ж, посмотрим. Провожу я вас на Хаяшкину гриву. Завтра и пойдем по холодку. Чего же для такого дела вам самолет не дали?

— В прошлом году давали...

— Ясно...

Василий Петрович промолчал. Хотелось ответить резкостью на прозрачное «ясно». Но Талаев сдержался, только лохматые брови его насупились да резче залегли складки в углах рта.

— В жизни-то как только не бывает, — вздохнув, продолжил разговор Воробьев. — Поднялся раз на меня «хозяин». Повыше вас раза в полтора. Идет тучей. А у меня карабин, что ни дерну за курок — то осечка. Тот лапы протянул, небо застил. Ну, решил уж отходную читать. А сам еще раз попробовал. Передернул затвор, стволом «хозяину» под нижнюю челюсть и — бабах! Выстрелил-таки, сукин сын! Да, а я уж не чаял свету белого увидеть. А мирская молва — что морская волна. Тут выстоять надо, лишь бы с ног не сбила. Коль не сшибла, то на своей же спине и вынесет.

— Спасибо, Воробьев, на добром слове, — сказал Талаев.

— Вам слово в костыли негоже — сами стоите крепко.

В тайгу вышли на зорьке. И снова звенел дождевой шум пирующего шелкопряда.

Талаев достал ракетницу, зарядил и выстрелил. Легкое светлое облачко повисло над кроной кедра. Растаяло.

Снова выстрел. Исчезающее облачко над вершиной. И тишина.

Воробьев долго стоял под первым деревом, словно ожидая, что вот сейчас оттуда посыплются дохлые гусеницы. Не дождался. Вздохнул. Двинулся за Талаевым.

Молчали весь день.

— И когда же мор начнется, Василий Петрович?

— Через неделю. Если начнется...

— Дай-то бог!

Посадили шелкопряда в кедровый молодняк — наблюдать за ним так было легче.

...Вернувшись вечером с обхода, Талаев увидел глыбистую фигуру Воробьева у черных островов молодых кедров. Василий Петрович хотел пройти мимо, он плоховато себя чувствовал: ломило плечо, а под лопаткой боль сидела, словно тупой гвоздь. Еще в середине дня он принял валидол. Но Талаев не смог пройти мимо скорбно ссутулившегося лесника.

— Погибли, — вздохнул Воробьев, покосившись через плечо на подошедшего Талаева. — Пять кедров погибло.

— Да.

— И много еще?

— Не знаю.

— Что ж, лишь бы польза была.

Талаев промолчал. Он повернулся и пошел к палатке.

Ночью снились кошмары. Однако утром он снова ушел в тайгу. Проходя от распадка к распадку, Талаев старался щадить себя, следил, чтоб не сбивалось дыхание. Но к вечеру он снова очень устал, а встреча с лесником взволновала и огорчила его.

Гусеницы объели еще четыре кедра.

Воробьев встретил Василия Петровича вопросом:

— Когда ж эти твари дохнуть начнут?

— Должны скоро...

Шли недели, и черных скелетов кедра становилось все больше.

Лесник мрачно молчал. Однажды Талаев ушел без завтрака. Воробьев, заботившийся о еде, то ли спал, то ли притворялся спящим.

Василий Петрович весь день бродил по вековым кедровым лесам. Снова, как тогда, во время охотничьей поездки с Болдыревым, перед ним, застилая дальние деревья, маячила косая завеса солнечных лучей, скрывавшая кедровую корабельную чашу, цокали и уркали белки, и словно через канавы перешагивал он через глубоко пробитые звериные тропы.

...Мрачный лесник сидел у костра и, лишь краем глаза посмотрев на Талаева, сказал:

— Уйду я от вас, товарищ Талаев. Завтра вот и уйду. Не терпит больше моя душа.

— Сколько кедров погибло?

— Двадцать три.

— И еще полсотни погибнет.

Лесник махнул рукой:

— Эх, наука!

И ушел. Талаев остался один. Раз в неделю появлялся Воробьев. Вздыхал и уходил.

Лето прошло. Мор не начался.

Гусеницы, разжиревшие, огромные, в палец толщиной, похожие на драконов-малюток, не желали гибнуть. Они сопротивлялись. Отчаянно и успешно.

О МУЖЕСТВЕ...

Беды прибредают чередой. А может быть, одна является в какой-то степени следствием другой. Следствием, которое не всегда можно проследить или понять.

Тяжело заболела Анна Михайловна — рак. Умирала она трудно.

На похороны приехали сыновья. Дорогие, близкие и очень далекие от того, что составляло жизнь отца. Василий Петрович, пожалуй только увидевшись с детьми, понял, каким он остался одиноким. У них все было свое: жизнь, взгляды, отношение к людям. Лишь воспоминание о том, что Саша маленьким не любил морковь в супе, а Петя — сладостен и в детстве у него

часто болели зубы, лишь прошлые тревоги и заботы связывали Василия Петровича с крупными — в него — мужчинами, носившими его фамилию.

Сыновья уехали. Василий Петрович научился приходить в пустую квартиру, привык не замечать вещей, кричавших о потере, стал готовить завтраки и ужины, а по ночам, когда приходилось работать, заваривать чай.

Порог утраты словно отделил его от неудач. Они представлялись мелкими, неопределяющими, потому что не решен был исход борьбы, начатой девять лет тому назад. Думы Василия Петровича вернулись к дендролимусу.

Вечерами, которые в одиночестве казались невероятно длинными, Талаев разбирал архивы по «делу дендролимуса».

Он мысленно повторял свои опыты, начиная с самого первого: заражение гусениц в лаборатории девять лет назад. Доказали ли эти опыты заразительность, безусловную заразительность шелкопряда септициемией? Да. Гусеницы, взятые из разных очагов, неизменно поражались одной и той же болезнью. Достаточно ли тщательной была проверка в тайге? Да. Там шелкопряд погибал от гнилокровия. Проверено ли было действие дендробациллина на листовенничного шелкопряда? Да. И в лаборатории и на месте. Гусеницы не дошли в тайге, но погибали от того же препарата в садке. Те, что в тайге, самым мирным образом уживались с дендролимусом. Талаев находил в них бациллы дендролимуса и тогда, в листовенничной тайге, и этим летом. Они будто потеряли свою патогенность, стали незаразительными, оставаясь вроде бы обыкновенной микрофлорой кишечного тракта шелкопряда.

В работе Д'Эрелля с заражением саранчи, ставшей классической по своей неудачности, было то же самое. Опыты проверяла международная комиссия. Она отметила, что эпизоотия септициемии у саранчи то оказывалась ярко выраженной, то вдруг по неизвестным причинам микроб вел себя, как сапрофит — как безвредный.

Один и тот же результат.

Какой-то замкнутый порочный круг.

Талаев снова взялся за работы русских и иностранных микробиологов, которые хоть в какой-то мере занимались биологической борьбой с насекомыми. Во всех трудах повторялась та же история: находка возбудителя болезни, неоспоримые доказательства заразительности — и провал.

Выходит, либо это действительно тупик, либо во всех работах отсутствует нужная методика искусственного воспроизведения эпизоотии.

А этот американец, Штейн? Прошло три года, а больше о его опытах не писали. Вероятно, и он столкнулся с трудностями...

«Послушай, — сказал сам себе Талаев, — но ведь... Ведь надо уметь не только давать ценные советы другим, но и самому пользоваться ими! Болдырев тоже жаловался на невозможность массового искусственного воспроизведения наездников. Однажды я, помнится, сказал: «Может быть, следует искать причины в естественных преродах, в условиях». Условия!»

Резкий звонок заставил Талаева вздрогнуть. Заливался будильник. Пора было вставать — идти в университет.

Василий Петрович прошел в ванную, принял холодный душ, побрился.

— Условия, условия... — негромко приговаривал он, намыливая щеки. — Однако если эпидемиология — наука о возникновении, течении и угасании эпидемий — имеет крупные достижения, то об эпизоотиях у насекомых работ почти нет... Это так. Что ж, посмотрим все, что есть про эпидемии.

* * *

Боль ударила, будто молния расколола грудь.

В сознании мелькнуло: «Это конец?..»

И потом, когда ощущение жизни вернулось, когда он почувствовал свой первый после темного провала вздох, самым мучительным была невозможность точно вспомнить, успел он произнести фразу: «Это конец?», или она была лишь чувством, а не словами.

Боль остыла, но по-прежнему ясно и ощутимо существовала в груди, подобно охладившейся стали.

Он не мог пошевелинуться, ни двинуться без того, чтобы не почувствовать себя пригвожденным к постели.

Приходили и уходили врачи. В комнате рядом поставили раскладушку для медсестры, которая должна была дежурить круглые сутки. Но все, что происходило в квартире, словно не касалось Василия Петровича, проплывало мимо его сознания, было то ли привычным, то ли безразличным.

Бесшумно появлялась домработница Мотя, ровесница Василия Петровича, бодрая, худощавая старушка. Она ходила по квартире со старомодной, сделанной из разноцветных перьев метелкой для сметания пыли. И пока она молча бродила по комнате, которая была и спальней и кабинетом, Василий Петрович будто не замечал ее. Ему не хотелось ни двигаться, ни разговаривать.

Но однажды он заметил, что Мотя ступает по комнате бесшумно. И что его удивило — она очень осторожно, часто оглядываясь на него, подбиралась к письменному столу. Он не сразу понял, в чем дело, но когда Мотя дотронулась цветными перьями до бумаг, а потом хотела собрать их, чего обычно не делала, Василий Петрович остановил ее.

— Это почему ж не трогать? — удивилась Мотя.

— Не надо трогать...

— В доме больного хозяин — врач!

— Если вы тронете бумаги — я встану.

Мотя испуганно замахала руками и вышла из комнаты. В гостиной послышалось шушуканье. Потом к Василию Петровичу подошел Иван Иванович — врач, уже много лет лечивший семью Талаевых.

Иван Иванович, как и Василий Петрович, был сыном ссыльного поселенца. Когда-то, в начале века, их отцы дружили, а сами они играли вместе еще мальчишками. Еще когда Иван Иванович учился, ему сказали, что он похож на Чехова, и с тех

пор он, стараясь не нарушить этого сходства, носил бородку и пенсне.

Подойдя к тахте, Иван Иванович присел на край и, заправив за ухо шнурок, сказал:

— Вот что, Василий Петрович, тебе нельзя работать.

— Знаю.

— Тебе надо навсегда распрощаться с шелкопрядом. В тайгу ты больше не ходок.

— Послушай, Иван Иванович, шелкопряд — единственное дело моей жизни, которое я всенепременнейше хочу довести до конца. Понимаешь?

— Я уверен, что оно доведет тебя до конца скорее. Я не таю это от тебя. С инфарктом шутки плохи.

— Но все бумаги со стола ты перенесешь на тумбочку у тахты. Я тоже не хочу играть в прятки.

Врач пожал плечами и перенес бумаги.

— Да, послушай, Иван Иванович, тебя можно попросить не как доктора, а как приятеля об одном одолжении?

— Проси.

— Будь добр, принеси мне работы Заболотного. Особенно мне нужна его статья «Угасание эпидемии».

Иван Иванович рассердился, но статью отыскал и принес. Талаев прочитал ее. А в другой раз, пока доктор готовил шприц для инъекции, Василий Петрович начал разговор:

— Лучшее лечение — это работа.

Доктор посмотрел на приятно взволнованное лицо Талаева и ничего не сказал.

— Конечно, до сих пор никому и в голову не приходило разделять первичное заражение от вторичного.

— Почему же? — удивился доктор. — При возникновении эпидемий это главное. Если исключить вторичное инфицирование, то и эпидемии не будет. Для этого проводят дезинфекцию, отделяют больных от здоровых — основные правила санитарии. В городе, например, бывают случаи брюшного тифа, дизентерии, скарлатины. Но больного вовремя изолируют от окружающих, и он не становится источником заражения — вторичного инфицирования.

— Однако окружающие могут в этом случае быть бациллоносителями? Они остаются здоровыми, а в то же время в их организме есть микробы этой болезни? — спросил Талаев.

— Безусловно. Да у любого здорового человека в организме есть болезнетворные микробы. Причем самых заразных, самых кошмарных болезней.

— Так почему же человек не заболевает? — Василий Петрович приподнялся с подушки.

— Э, если вы так будете реагировать на разговоры, я замолчу.

— Хорошо. Не буду реагировать. Потом, я ведь имею в виду не людей, а насекомых. Среди них тоже имеются здоровые бациллоносители... А почему люди не заболевают?

— Они здоровы, крепки. Не поддаются болезни. Про ваших насекомых не знаю, — сердито сказал Иван Иванович. — И, кстати, вам нельзя много разговаривать.

Василий Петрович замолчал. Он думал о том, что при всей современной скрупулезной специализации науки и каждого ее отдела ученому невозможно, немыслимо быть узким специалистом. Всегда смежные области в чем-то обгоняют, уходят вперед, добиваются результатов, пусть противоположных по смыслу той работе, которую ведешь, но знание этих решений нужно непременно.

Вероятно, успешная работа ученого всегда связана с широтой его взглядов. «Может быть, мне стали необходимыми знания из соседних областей потому, что тема касается сразу трех дисциплин: микробиологии, энтомологии и эпидемиологии? Впрочем, трудно найти практическую проблему, не затрагивающую смежных наук. Но я отвлекся», — остановил себя Талаев.

Успехи эпидемиологии, особенно советской, блестящи. У нас ликвидированы болезни, которые считались неистребимыми в течение столетий. Но Талаеву нужно добиться прямо противоположного результата — вызвать эпизоотию, массовое смертельное заболевание насекомых с двухгодичным циклом развития.

Итак, бациллоносительство — нормальное состояние здорового организма. Кто не носит в себе вируса гриппа? Однако нужно «что-то», и только тогда человек заболевает. К примеру, охлаждение организма, ослабление его.

А что это «что-то» для шелкопряда?

* * *

Однажды в гостиной послышался голос Кирилла Андреевича Громушкина. Василий Петрович тотчас понял, что ждал его прихода.

Коренастый, в отлично сшитом костюме, Кирилл Андреевич расположился в кресле у постели, и минут пять они говорили о всяких университетских новостях. Потом Василий Петрович спросил прямо:

— Кирилл Андреевич, как вы относитесь к моей работе? Ведь вы слушали мой доклад.

— Я слышал не только ваш доклад, но и «доклад» Ивана Ивановича. Он жаловался на вас.

— Наябедничал...

— Ну, Василий Петрович, не будем детьми. Он прав.

— Что ж, — напустился Талаев. — Тогда у нас с вами разговор не получится.

— Горячитесь, Василий Петрович...

Талаев внимательно посмотрел на своего собеседника. Продолговатое, до синевы выбритое лицо Кирилла Андреевича было серьезно.

— Если вы, Василий Петрович, хотите, то я выскажу свое мнение и относительно вашего доклада и о борьбе с шелкопрядом вообще.

— Если оно не цензуровано у Ивана Ивановича — да.

— Нет. Не цензуровано. Хотя он мне сказал, что разговаривать с вами о делах уже можно. Так вот. Вы очень своевременно выступили с докладом, и ваша оценка своей работы трезва и справедлива.

— Это, так сказать, цветочки, а ягоды — кислые, — заметил Талаев.

— Нет. Не согласен, — опершись ладонями в колени, сказал Кирилл Андреевич. — Я очень внимательно ознакомился с тезисами вашего доклада. В отличие от своих зарубежных коллег вы не впали в отчаяние.

— Впал.

— По другому поводу. Они приходили к выводу, что бактериологическое решение проблемы в принципе бесперспективно. Например, международная комиссия по опытам Д'Эрелля прямо утверждает, что кокк, вызывающий септицемию у саранчи, лишь случайно может давать вспышку эпизоотии. Иными словами, микроб не патогенен, не болезнетворен.

— Так.

— А вы утверждаете, что бациллюс дендролимус патогенен и обязательно вызовет эпизоотию, но вы еще не изучили условий, при которых это случится. Это, простите, в корне отличается от выводов очень компетентной международной комиссии. Вы их не ставите под сомнение, а отрицаете. Вы открываете перед микробиологами мира новый путь. И должен вам сказать, что вы подошли к решению проблемы с философской точки зрения как материалист и диалектик.

Талаев смущенно поморщился:

— Вы столько хороших слов наговорили...

— Я сказал то, что думал. Кстати, попытки Штейна в последнее время тоже неудачны. Он столкнулся с теми же трудностями. И не преодолел их. И не пришел к тем выводам, что вы. Так что, я думаю, коммунисты были правы, в течение десяти лет поручая вам ведение философского семинара биологов при горкоме партии. Это я уже как секретарь партбюро говорю.

— Но ведь дендролимус-то пока результатов не дал!

— Есть мысль! Это тоже немало. Идея становится материальной силой и тогда, когда она овладевает одним человеком, — улыбнулся Громушкин. — Особенно когда дело касается науки.

— Вы высказали весьма частную мысль, Кирилл Андреевич. Ее мне первым отец сказал. Смешно немного вспоминать папу, когда самому под шестьдесят, когда сам уже дед. Но приходится.

— Да, кстати, Василий Петрович, а за что вашего отца выслали из Петербурга?

Взглянув на Громушкина, Талаев понял, что тот заметил его взволнованность и хочет переменить тему разговора. Не желая беспокоить гостя и интересного собеседника, Василий Петрович рассказал о том, что отца его исключили из университета и выслали в Сибирь за распространение изданий ленинского Союза борьбы за освобождение рабочего класса. Выдал Петра Талаева его отец, дед Василия Петровича, казачий полковник, выслуживший золотые погоны сорокалетней верной службой государю императору. Нашел у сына в кармане революционную листовку и выдал.

Видя, что Кирилл Андреевич успокоился и не станет более

откладывать важного разговора, Василий Петрович снова вернулся к проблеме шелкопряда.

Они проговорили, что называется, до первых петухов.

* * *

Главная мысль — необходимость найти слабое место в развитии шелкопряда — была осознана.

Талаев понял, что сначала занимался септициемией как эмпирик, как наблюдатель процесса, собирающий факты, и лишь с недавнего времени как диалектик, ищущий основу явления.

Устойчивость шелкопряда к бациллюсу дендроллимусу представлялась ему в новом свете. Обильная пища, отличные условия существования помогали гусеницам успешно бороться с заболеванием.

Да, надо было искать периоды в жизни шелкопряда, когда он оказывался слабым, неподготовленным к встрече со своим врагом — бациллой. Во время межлетного года гусеницы имеют прекрасную пищу, хотя и оказываются наиболее уязвимыми для заражения. Затем — летный год. Весной перезимовавшие под снегом гусеницы вновь набрасываются на кедры, затем окукливаются и к середине лета превращаются в бабочек.

А может быть, дело и в том, что гусеницы малоподвижны, отползают недалеко? Нет контакта между заболевшими и здоровыми особями? Раз нет контакта, то трудно ожидать эпидемии.

Смерть десятков, даже сотен гусениц среди бесчисленных полчищ настолько малая утрата, что ее не имеет смысла учитывать.

Талаев решил во что бы то ни стало отправиться в новую экспедицию.

О СЧАСТЬЕ УЧЕНОГО

Ранней весной из Читинского опорного пункта приехал с запиской от Болдырева младший научный сотрудник Лурье.

Худощавый и элегантный молодой человек, видимо, впервые выполнял столь ответственное поручение, как сбор гусениц. Он спросил у Василия Петровича:

— Где мне лучше выбрать особей? Я имею в виду наиболее крупных и здоровых.

— К сожалению, где угодно.

— Меня бы интересовало ваше конкретное мнение, как крупного специалиста в этой области.

— Поезжайте хотя бы в Быструю. Там их сколько угодно. Я убедился в этом в прошлом году.

— Благодарю вас.

— Право, не за что.

В мае и сам Талаев выехал в тайгу. В одном из очагов он собрал около десяти тысяч гусениц в ящик и отправился с ними в молодой кедр, чтобы разобраться в миграции — передвижении и распространении гусениц — на опытной делянке.

Всю дорогу, пока Талаев ехал на телеге вместе с лесником, за спиной Василия Петровича слышался глухой угрожающий шум. Это двигались и царапались о стенки ящика гусеницы.

Сняли ящик с телеги. Шелкопряд зашипел еще грознее. Казалось, ящик разорвется от их ярости.

— Что ж, Степаныч, бери топор, открывая крышку.

Лесник сходил к телеге за топором, подошел к ящику, помялся.

— Нет, Петрович, я эту пакость не стану открывать. Ишь, как ярится! Хоть убей — не могу.

— Давай топор.

Талаев поддел крышку и одним махом откинул ее.

Черная шипящая лавина гусениц перевалила через край. Лесник бросился наутек. Талаев оказался в самой гуще быстрых изголодавшихся тварей. Гусеницы облепили его. Они, выгибая свои волосатые тела, за секунды добрались до плечей, ползли за шиворот, в рукава. Талаев зажмурился, ощущая их холодные прикосновения на шее, руках, спине. Его охватило чувство омерзения и гадливости, и не хватало сил, быстроты движений, чтобы скинуть с себя нечисть.

«Только не открывать глаз!» — твердил про себя Талаев, сбрасывая гусениц.

Минут десять протянулось, пока поток черно-серебристых тварей прошел мимо. Не открывая глаз, Талаев попросил лесника отвести его к ключу и тщательно вымыл лицо. Если бы волоски гусениц попали в глаза, то жестокое воспаление могло кончиться слепотой.

Но все обошлось благополучно.

— Ух, и испугался я за тебя! — приговаривал лесник. — И помочь нечем. Всего облепили.

— Это они со злости, — отшутился Талаев, — что не даю им спокойно жить.

— Эх, посмотрелся я на них за свою жизнь! Нет на эту гадость управы. Кажется, увидел бы их подошедшими — и рога в землю.

— Что ты, Степаныч, — Талаев похлопал по плечу лесника. — Не стоит так быстро. Вот разделаюсь с шелкопрядом, примусь за другую погань таежную.

— Это за какую же?

— Ну, я еще не справился с шелкопрядом... Хотя... раз никто, кроме тайги, нас не слышит, скажу... За гнуса. Пора нам очиститься от него тайгу.

— Ишь, вы куда! — неожиданно перейдя на «вы», воскликнул Степаныч.

— А что? Мы же с тобой еще молодые. Пять десятков с половиной — разве это лета? Рано нам «рога в землю». Дел-то сколько! Ну, пойдем гусениц считать, а то расползутся — и не найдешь.

Палатку разбили неподалеку от опытного участка.

В первый же день гусеницы обглодали два молодых кедра.

После заражения их препаратом бациллы дендролимуса они, как показалось Талаеву, с еще большим азартом принялись за хвою. Однако, вскрывая этих тварей, Василий Петрович неизмен-

но находил в них бациллы дендролимуса. Микробы словно притаились до поры до времени.

Год для сибирского шелкопряда был межлетний. Обычно в это время никаких опытов не проводилось: слишком коротким был срок — едва выбравшись из моховой подстилки, гусеницы отъедались и заворачивались в коконы, чтобы через месяц вылететь из него бабочкой.

Однако у Талаева был свой расчет. Ему хотелось посмотреть, как ведет себя дендролимус во время превращения гусеницы в бабочку. Ведь в этот период организм гусеницы перестраивается целиком — органы претерпевают коренные изменения.

И вот на одиннадцатый день Василию Петровичу попалась на глаза первая вялая гусеница.

Он принес ее в палатку, положил на стол и почувствовал, что не сможет тотчас приготовить препарат. От волнения дрожали руки. Он хлопнул себя по карману. Вспомнил, что полгода назад бросил курить. Чертыхнувшись по адресу Ивана Ивановича, Талаев прошелся у стола, несколько раз глубоко вздохнул, точно собирался броситься в холодную воду, и принялся за шелкопряда.

На серебристом поле в окуляре микроскопа он увидел знакомую до мельчайших подробностей палочку — бактерию.

Еще, еще... Они занимали все поле.

Вдруг пропали.

Талаев принялся вращать винт микроскопа, но бактерий не было. На серебристом поле ползали какие-то тени. Он отшатнулся от окуляра. И предметы в палатке виделись в каком-то тумане.

Василий Петрович вытер тыльной стороной ладони глаза и выругался про себя: «Нервы! Проклятые нервы!»

Вечером того же дня несколько дохлых гусениц принес Степаныч:

— Дохнут! А вы говорили: не знаю!

Гусеницы дышали. Они гибли перед окукливанием, гибли в коконах, повисших на хвое.

«Вот оно — слабое место в броне шелкопряда! Период перед окукливанием!» — думал Талаев.

Однажды, когда Василий Петрович возвратился из тайги с целым ворохом трупов гусениц, Степаныч удрученно сказал:

— Только дела пошли на лад — вас куда-то вызывают. Жена приходила, говорила: вас в лесничество требуют.

Талаев недовольно поморщился: «Кому я нужен? Работы до черта, а тут...»

Начальник лесничества, как показалось Талаеву, нес несусветное, и Василий Петрович сам вызвал Иркутск.

— Удивительное дело! — кричал в трубку начальник областного управления лесного хозяйства. — Собранные Лурье гусеницы погибли. Все до одной! Он привез их в Читу, а они погибли. Что бы это значило? А взятые из других мест живехоньки!

— Погибли? Все? — не веря своим ушам, переспросил Талаев.

— Все! Нам из Читы позвонили. Просили разыскать вас.

Положив трубку на рычаг, Василий Петрович потер виски.

«Что это? — напряженно работала мысль. — Что это? Случайность? Может быть, Лурье поморил их дорогой?»

В тот же вечер Талаев выехал в Быструю, туда, где он посоветовал Лурье взять гусениц. Дорога была не близкая. Радость в душе сменялась тревогой, боязнью, что это снова какая-нибудь ошибка.

* * *

Около дома лесника Воробьева, не дожидаясь, пока лошади остановятся, Василий Петрович спрыгнул с телеги, крикнул в открытое окно:

— Хозяин дома?

— Дома! — ответил Воробьев. — А, это вы!.. Заходите!

Голос хозяина поскунчел.

«Не знает, видно, ничего», — подумал Талаев и сказал:

— Некогда. У тебя брал гусениц этакий вежливый юноша?

Хозяин вышел на крыльцо.

— На моем участке. Где вы из ракетницы стреляли, а потом на здоровые кедры гусениц подсаживали. Там и брал.

— Седлай коней, Воробьев. Поехали.

— Что за спешка? Хоть бы чайку выпили...

— Гусеницы в Чите подошли. Может, и на гриве мор.

— Ну!

— Седлай, Ваня! Седлай!

— Это я мигом! Ах ты, черт!

Поскакали.

— Да толком-то расскажи, Василь Петрович! Тогда-то, весной, они живехоньки были, — на скаку спрашивал Воробьев.

— Сам ничего толком не знаю. Приедем — увидим.

За километр от Хаяшкиной гривы стало припахивать гнилью. Дух держался устойчиво.

— Смердит, будто вся грива трупами завалена, — отворачивая нос, сказал Воробьев.

Талаев промолчал. У подола хребта слезли с коней.

В тишине порывами шумел ветер.

Кедры стояли зеленые, не тронутые шелкопрядом.

Трупы гусениц усеяли подножья деревьев. Василий Петрович осмотрел коконы. В них шелкопряд тоже подох. Повальный мор побил шелкопряда. И в ста и в двухстах метрах от тех мест, где Талаев обстреливал кедры, гусеницы оказались мертвыми. Только на самой дальней делянке Василий Петрович и Воробьев увидели несколько вялых, едва ползущих гусениц.

Они были обречены.

— Ну и ну, — приговаривал время от времени Воробьев, — не видал еще такого.

Осмотрев в разных местах погибших гусениц, Талаев убедился, что смерть наступила от септицемии — полного расплавления тканей внутренних органов шелкопряда. Выходило, что дендролимус вдруг снова обрел свою полную силу, как и в тех опытах, которые Талаев провел у Степаныча. Но и это было не все. Здесь, на Хаяшкиной гриве, гусеницы погибли не только в местах заражения, но и вокруг, по ходу движения шелкопря-

да. Значит, гибли не только зараженные особи, но и те, которые заразились от погибших. Подтверждалась мысль о вторичном инфицировании. Именно оно и вызвало эпизоотию.

— Слышишь, Воробьев? — тронув лесника за плечо, спросил Талаев.

— Слышу — кедры шумят!

Во дворе своего дома Талаев неожиданно встретился с Иваном Ивановичем. Тот пожелал тотчас осмотреть Василия Петровича.

— То ты в Праге на симпозиуме, то в Вене на Международном энтомологическом конгрессе, то в Москве на совещании Института зоологии...

— Я отлично себя чувствую!

— И слышать ничего не хочешь о твоём отличном самочувствии! — подталкивая впереди себя Талаева, выговаривал врач. — Вот сам посмотрю — тогда поверю.

Иван Иванович добрых полчаса вертел своего пациента, потом, не говоря ни слова, потащил в поликлинику, где Талаеву сделали кардиограмму.

Посмотрев проявленную пленку, Иван Иванович торжественно сказал:

— Я поражен, Василий! Никаких признаков. Будь на месте меня любой мой коллега, он никогда не поверил бы, что у тебя был инфаркт. А я-то знаю, какой у тебя был инфарктище. Что ж, благодари свои кедры, свою тайгу! Я пасую!

Разговор приятелей прервал телефонный звонок. Иван Иванович, попрощавшись, ушел. Звонил начальник областного управления лесного хозяйства Коротков. Он сообщил радостную новость. Оказалось, что в лиственных лесах, у заброшенного леспромхоза, шелкопряд вымер еще в прошлом году. На следующий год после заражения. Туда была направлена комиссия. Она расследовала причины гибели гусениц и установила: шелкопряд погиб от септицемии.

Взяв со стола веточку кедра, Василий Петрович потер в руках хвою. Свежий смолистый дух наполнил комнату.

— Что ж, мой антипод по дыханию, метод найден. Заражение шелкопряда дендробациллином можно проводить весь межлетний год и весной летнего года. В это время дендробациллин действует, как токсиген, как яд, уничтожая больше половины насекомых, а часть гусениц становится бациллоносителями. Эпизоотия, вызванная вторичным инфицированием, развивается на третий год. На четвертый год кедровник постепенно очистится от шелкопряда.

Теперь нетрудно поверить, что через некоторое время люди забудут о лихой беде тайги — шелкопряде, как забыли о страшных эпидемиях чумы или оспы. И только в учебниках энтомологии сохранятся страшные данные бывших лесных бедствий, которые приравнивались к пожарам.

И Талаев подумал о том, что странно измеряется время учебного. Порой годы текут без видимой пользы: каждодневный труд кажется бесплодным. Порой манящий вдаль огонек цели заволакивается туманом необъяснимых фактов.

И вдруг берег его мечты, цель, к которой он стремился, — вот он!

И тогда все и он сам искренне удивляются: сколько же плутал, сколько сил потрачено зря!

Зря? Нет. Даже если бы случилось самое жестокое в жизни ученого — оказалось, что он в данном случае ошибался, то и это научное «закрытие» имело бы для науки свою ценность. Стал бы известен еще один неверный ход, по которому не пойдут его товарищи, ученые.

И он одержал победу. Он... Только ли он? И смог бы это сделать только он? Нет. Все эти годы он постоянно чувствовал дружескую руку, товарищеский совет и непрестанный интерес к делу, за которое он взялся, многих советских людей, лесников, пилотов, собратьев по науке... Да, собственно, и тому самой работы ему, Талалаеву, подарил товарищ, ученый. Мало сказать — подарил. Болдырев увлек его своей одержимостью, заразил его своей любовью к тайге, страстным желанием защитить ее от векового врага, сохранить богатство страны.

За окном увал за увалом до самого горизонта тянулась тайга. Рыжая, нежно-желтая, с темными пятнами вечнозеленых елей, она уходила вдаль и где-то там, на не видимом отсюда рубеже, сливалась с небом, по-осеннему удивительно голубым, и последние высокие белые облака сияли на нем.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

В основу повести Н. Коротеева «Схватка с оборотнем» положена история открытия профессором Иркутского государственного университета Е. В. Талалаевым микробиологического способа борьбы с опаснейшим вредителем таежных лесов — сибирским шелкопрядом.

Как сообщил нам заместитель начальника Главного управления лесного хозяйства РСФСР Е. Т. Курносов, этот метод проходит сейчас государственные испытания. Окончательные итоги его эффективности будут подведены в будущем, 1964 году.

Изыскание биологических методов борьбы с вредителями сельскохозяйственных растений, в том числе и с вредителями леса, является сегодня одной из основных проблем, стоящих перед советской биологией.

СЕНСАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ

НИК. ШПАНОВ

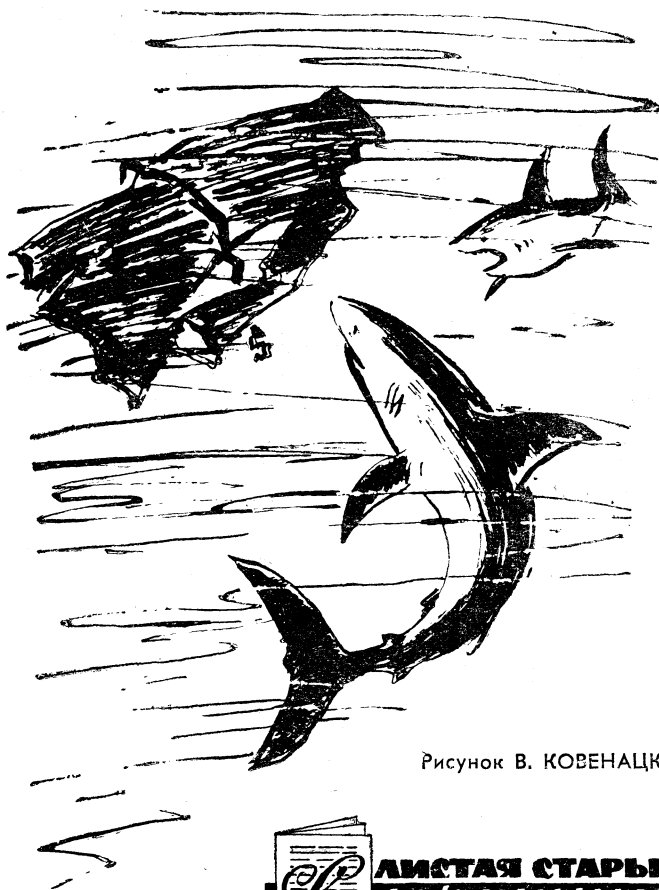


Рисунок В. КОВЕНАЦКОГО



Биография Николая Николаевича Шпанова (1896—1961) напоминает увлекательный роман. Путешествовать будущий писатель начал еще в юности, побывал в Китае и в Японии. Учился в Петербургском политехническом институте, откуда во время первой мировой войны перешел в инженерный институт; несколько позже окончил воздухоплавательную школу. Был летчиком-наблюдателем.

После Октябрьской революции добровольцем вступил в Красную Армию.

Первый очерк Н. Шпанова «Полет в лесные дебри» — о приключениях воздухоплавателей, потерпевших аварию на аэростате, — был основан на личных впечатлениях автора. Очерк появился в 1926 году. И снова путешествия, экспедиции, приключения то в кабине самолета, то на борту ледокола... Первый фантастико-приключенческий роман Н. Шпанова «Земля недоступности» появился в журнале «Вокруг света» в 1930 году.

В послевоенные годы писатель посвящает свое творчество разоблачению поджигателей новой мировой войны. Главы из его последнего романа «Ураган» печатались в «Искателе».

Рассказ «Сенсационная информация» впервые опубликован в 1929 году. Разоблачающий провокации глашатаев антикоммунизма и нравы буржуазной печати, он и сегодня не потерял своей актуальности.

БОРИС ЛЯПУНОВ

Этот рассказ — описание истинного происшествия, составленное по нескольким старым номерам американской газеты «Нью-Йорк геральд». Дополнить его удалось несколькими страницами из дневника американца Джонатана Кормика, приехавшего в СССР в конце 1927 года на Октябрьские торжества в качестве представителя рабочего союза работников коммерческой авиации.

* * *

14 час. 17 июля 1927 года.

Мак-Клинтон, директор отдела входящей информации треста Херста, выругался и со звоном повесил телефонную трубку на крючок аппарата. Затем он нажал кнопку звонка и, не поднимая головы, быстро проговорил вошедшему секретарю:

— Проверить, почему не отвечает телефон Кормика — пилота. Немедленно отправить его машину в Порт-о-Пренс, Гаити; доставить туда Хинтона — корреспондента и Зинна — фотографа. Первые же материалы о столкновениях забастовщиков на Гаити с полицией — по радио сюда. Все... Нет, забыл: Кормика, если телефон не испорчен, оштрафовать, чтобы сидел дома, когда он может мне понадобиться. Нужно учить этих голубчиков, показать, что мы плюем на их союз и на все их законы и правила.

Набросав все это в своем блокноте, секретарь молча вышел в свою комнату.

Там он включил сразу два номера коммутатора и, копируя голос Мак-Клинтока, стал отрывисто бросать в трубку:

— Бэну Хинтону — корреспонденту и Зинну — фотографу. Вы немедленно отправляетесь с пилотом Кормиком в Порт-о-Пренс, Гаити. Забастовка. Центр внимания — блестящие действия полиции, подавляющей волнения рабочих. Материал обычным порядком. Автомобиль № 1418, гараж № 3. Выхать за Кормиком — Бруклин, Шестнадцатая улица. Все. Гидони — секретарь.

14 час. 30 мин. 17 июля 1927 года.

Оступаясь на скользких ступеньках полутемной лестницы, Бэн Хинтон, высокий худой мужчина в шляге и кожаном пальто, взобрался на четвертый этаж и постучал в одну из бесчисленных дверей длинного коридора.

Из-за нее послышался сердитый голос Джонатана Кормика:

— Кого принес сатана? А, Хинтон. У меня очередной приступ малярии.

— Ну, Джо, прячьте вашу малярию под кровать. Через час нас ждет машина на аэродроме. Да, кстати, сегодня «хозяин» чуть не разломал телефон — все вам звонил.

— К черту! — окрылся Кормик. — Сквозь сон слышал звонок, но когда у вас температура почти тридцать девять, к черту летят все «хозяева».

— Ну, время идет... Едем! Одевайтесь.

— Бэн, голубчик, минуточку. Я вам признаюсь. Мне нужно еще сегодня жениться. Что вы вытаращили глаза! Да, да, жениться на мисс Сюзи Глэнн. На сегодня назначена свадьба.

— Джо, вы осел. Вы спрашивали разрешение у «хозяина» на вашу женитьбу? Нет? Ну, тогда спрячьте вашу Сюзи Глэнн тоже под койку. Считаю до трех и, если на вас не будет штанов, звоню «хозяину».

— Бэн, что «хозяин» скотина, я знал всегда, но что вы тоже скотина, я узнал только сейчас...

15 час. 30 мин. 17 июля 1927 года.

Кормик застегивал шлем, когда к нему подбежал мальчик из конторы аэропорта.

— Вас просят к телефону, сэр.

Кормик пошел в телефонную будку.

— Алло, говорит Гидони — секретарь. Директор спрашивает, по какой причине вы еще не вылетели.

— По причине малярии и температуры.

— Это относится к причинам метеорологическим, техническим или личным?

— Малярия — к техническим, температура — к метеорологическим.

— Ол райт. Когда вы стартуете?

— Через пять минут.

— Ол райт. Будет доложено. Все.

15 час. 35 мин. 17 июля 1927 года.

Один из двенадцати самолетов, принадлежащих отделу информации треста Херста, ревел огнедышащими глотками четырех сотен лошадей, заключенных в стальные цилиндры старенького мотора.

Зинн поспешно грузил в просторную кабину самолета целую серию фотоаппаратов. Бэн Хинтон сидел в углу кабины в широком мягком кресле и, надвинув на глаза шляпу, пытался заснуть. Кормик проручил на старт и там, дождавшись появления над будкой стартера семафора с номером своего самолета, дал полный газ и повел машину на взлет. Бэн Хинтон поправил вату в ушах, еще глубже надвинул шляпу и через несколько минут захрапел.

Один за другим проходят под самолетом Филадельфия, Вашингтон, Ричмонд, Гринсборо. Кормик время от времени поворачивает валик карты, ожидая появления ощерившейся лесом дымных труб Атланты. Там на аэродроме его машину ждет свежий запас бензина, а сам он, Джо Кормик, сможет глотнуть контрабандного коньяку *, чтобы немного согнать дремоту, упорно держащуюся в нем вместе с высокой температурой. Кроме того, из аэропорта Атланты он еще раз пошлет телеграфное извинение мисс Сюзи Глэнн.

24 час. 17 июля 1927 года.

На западе давно пропал последний отсвет закатного багрянца. Черная ночь окутывает самолет плотной бархатной ватой. Фосфором светлеют стрелки и цифры контрольных приборов перед глазами усталого Кормика. Глаза начинают гореть. В ушах

* В США тогда действовал «сухой закон»: крепкие напитки были запрещены.

постукивает кровь. Кормик чувствует, что температура снова растёт. Недолгая остановка в Атланте не помогла. Ему приходится уже напрягать волю, чтобы бороться с большой дремотой, свинцом наливающей опухшие веки. Но когда веки делаются слишком тяжелыми, в мозгу мелькает образ «хозяина», переплетающийся с представлением о потерянном месте у Херста и с образом плачущей Сюзи Глэнн с 63-й авеню. Кормик крепче сжимает штурвал и пристальнее впиливается в черноту ночи...

2 час. 30 мин. 18 июля 1927 года.

Огни под самолетом начинали тускнеть. Ночь превращалась из черной в серую.

Кормик усталыми глазами следил за тонкой линейкой железной дороги, прорезающей леса Флориды. Сосед Кормика, бортмеханик, втянул шею в воротник кожаного пальто. Хинтон опять спал, надвинув шляпу на глаза. Зинн растянулся в кресле, и по мерно отдувавшимся губам было видно, что он храпит вовсю.

В ожерелье сочных лесов на берегу сверкающего голубизной залива показался город Майами. Последний аэродром на материке, который должен был миновать Кормик.

Однако Майами, зардевшись на солнце белыми плоскими крышами, внезапно исчез в молочно-белом, пушистом и плотном, как комок ваты, туманном клубке. За этим клубком потянулся новый. Целые гряды туманных холмов и полос...

Кормик идет на большой высоте. Он с трудом ориентируется по отдельным клочкам островов, проглядывающим сквозь прорывы в тумане.

Но вот совершенно внезапно почти под самой машиной возникают из-под тумана зеленые пятна и сверкающее на солнце бело-желтое пятно Гаваны.

В висках Кормика стучит горячая кровь, и красные круги застилают все кругом. Он бессознательно берет штурвал от себя, и самолет со свистом несется вниз...

19 час. 19 июля 1927 года.

Хинтон жадно ел, запивая обед крепким маисовым пивом. Зинн, сидя против него, лениво ковырял вилкой в тарелке. Они оба смертельно устали. Со вчерашнего дня, когда Кормик в новом припадке малярии совершил головокружительную посадку на поле, они переделали уйму дел.

Оставив в Гаване на квартире первого попавшегося врача

больного Кормика, Хинтон и Зинн умудрились устроиться на миноносце, шедшем на Гаити с отрядом морской пехоты в помощь полиции Порт-о-Пренс.

Хинтон и Зинн, побывав на Гаити, так же спешно вернулись обратно. Хинтон — чтобы лететь в Нью-Йорк, Зинн — чтобы захватить все свои аппараты и вернуться в Порт-о-Пренс.

Теперь, сидя за завтраком в номере гаванской гостиницы, куда переехал и больной Кормик, Зинн в сотый раз задал Хинтону вопрос:

— Слушайте, Бэн, ведь вам нужно здесь работать. Никак не пойму, какого черта вас несет в Нью-Йорк?

Хинтон, размякший от пятой бутылки крепкого пива, с видом заговорщика поглядел вокруг и, наклонившись к Зинну, проговорил:

— Ну, старина, я вам скажу, в чем дело. Я купил в Порт-о-Пренс один документик, объясняющий причины всей заварухи на Гаити. Рука Кремля. Понимаете? Вот так. Почему я не могу отправить документ почтой? Очень просто: я ни в какой мере не уверен в его подлинности, скажу больше — мне он прямо подозрителен, но тем больше оснований не доверять почте. Хинтон знает свое дело...

Хинтон продолжал еще удовлетворенно смеяться, когда перед ним появился Кормик. С желтым лицом, осунувшимся от лихорадки, едва держась на ногах, Кормик выглядел настоящим выходцем с того света.

— Бэн, — тихо сказал Кормик, — я знал, что вы скотина, но о том, какая вы скотина, я узнал только сейчас. Вы сейчас же отдадите мне ваш гнусный документик, или... — Кормик схватил со стола бутылку, но зашатался, повалился на пол.

Хинтон вскочил со стула, поднял Кормика и бросил на постель.

— Зинн, этот идиот, видимо, решил покончить со своей службой у Херста! Знаете, их разлагают союзы. Пока у них не было левых союзов, у нас не было и таких глупых пилотов. Впрочем, через час мы все равно летим.

Хинтон позвонил и вызвал врача.

— Слушайте, доктор. Этот больной говорит, что у него малярия, но мне нет никакого дела до его малярии, он должен через час вести свою машину. Ему нужно лекарство... Какое — вы знаете лучше меня! Важно только, чтобы он был на ногах и мог работать. Сердце? Черт с ним, с сердцем. Херсту нужны пилоты, а не сердце. Пятьдесят долларов? Хорошо, семьдесят пять — но чтобы через полчаса Кормик был на ногах!

20 час. 19 июля 1927 года.

На щеках Кормика играл яркий румянец, и глаза неестественно блестели. Навстречу машине со стороны моря, как и вчера, катились толстые ватные валики.

Прошло два часа, сделалось совершенно темно, но до сих пор не было видно мигающего огня аэромаяка Кей-Веста. Кормик внимательно проверил курс по компасу. Картушка лежала совершенно спокойно. Это показалось Кормику подозрительным. Он лег на новый курс, чтобы проверить действие приборов, и через пять минут понял, что компас испорчен. Кормик даже приблизительно не мог сказать, куда он залетел. С какой стороны садилось солнце? Сделав несколько поворотов для проверки компаса, он совершенно потерял ориентировку. Небо было затянуто облаками, звезды лишь изредка мелькали — по ним тоже невозможно было определить направление.

Кормик вел машину по прямой, пока не почувствовал, что в висках у него снова начинает стучать и сердце бьется непривычно неровно. Кормику трудно было думать. Голова трещала. Однако он решил набрать высоту, чтобы над облаками ориентироваться по звездам. Машина задрожала от работы мотора на полном газу. Стрелочка высотомера дошла до двух тысяч метров и замерла. Бензину оставалось на пятнадцать минут.

Сердце бьется все сильнее. «Что-то неладно, — думает Кормик, — не из-за того ли лекарства?» Точно сквозь море огня, Кормик видит под собою темную поверхность бесконечного моря и стрелку бензиновых часов, которая дрожит на горящем фосфорном «нуле».

И в этот же момент далеко на горизонте мелькнул тонкий голубой луч прожектора. Мелькнул и снова ушел.

Высокая волна выросла прямо перед носом машины. Кормик взял штурвал на себя, но машина грузно, задрав нос, всем брюхом встретила тяжелый удар пенистого гребня. Самолет болезненно рванулся вперед, и глухой грохот металла оглушил Кормика.

2 час. 30 мин. 20 июля 1927 года.

Хинтон вышел на крыло и, цепляясь за край фюзеляжа, полез к пилотской кабинке. Рядом с местом пилота над бортом висело, как мешок, тело бортмеханика Фуллера. Половина головы была у него оторвана осколком пропеллера. Глубоко уйдя

в свое сиденье, сидел на пилотском месте Кормик. Хинтон потряс его за плечо. Кормик открыл глаза:

— Ну, как поживает «хозяин»? Я думаю, Бэн, вы должны быть удовлетворены. А?

— Бросьте балаган, Джо. Где мы находимся?

— Вероятнее всего, в прихожей ада. Более точно определить место я не могу.

На горизонте еще несколько раз появлялся луч прожектора, но он делался все бледнее. Хинтон расстегнул ремни, удерживающие тело Фуллера, и оно тяжело упало в воду. Кормику показалось, что одновременно с тем, как тело коснулось воды, под ее поверхностью блеснуло еще несколько темных тел...

8 час. 20 июля 1927 года.

Солнце уже высоко стояло над горизонтом. На юге, в расстоянии всего двух или трех миль, виднелись зеленые купы деревьев.

Хинтон работал вместе с Кормиком. Надо было сбросить мотор, чтобы облегчить аппарат, который слишком быстро погружался в воду. Хинтону мешало кожаное пальто. Он снял его и положил на сиденье механика. Кормик в это время отдыхал; в ушах у него звенело все сильнее. Когда Хинтон положил рядом с ним свое пальто, Кормик вспомнил, как старательно укладывал Хинтон в его внутренний карман свою добычу — документ из Порт-о-Пренс. Почти бессознательно Кормик протянул руку и, захватив конец пальто, потянул его к себе. Пальто выпало через борт и повисло над водой в слабых пальцах Кормика. Увидев, что делает Кормик, Хинтон дико вскрикнул и бросил в него длинным железным ключом, с которым работал над мотором, но Кормик уже разжал пальцы, и пальто оказалось в воде.

— Эй, Кормик! Это стоит мне тысячу долларов, и за каждый мой доллар трест Херста заплатит мне десять. Вы сейчас же спуститесь в воду и достанете мне пальто... Слышите вы? — злобно кричал Хинтон.

Но Кормик смотрел на него мутными глазами: его зубы отбивали лихорадочную дробь.

— Ну, Джо, дружище, бросьте дурить, ведь перед нами тонут десять тысяч долларов!..

— Нырните сами, Бэн.

Хинтон, дрожа всем телом, смотрел на нарастающие перед самолетом пенистые валы. Наконец он решительно сбросил сапоги и подошел к краю крыла.

Высокий гребень подхватил пальто Хинтона и сразу отнес его на несколько метров от самолета. Хинтон решительно взмахнул руками, бросился в воду. И почти сразу слева и справа от него мелькнули длинные темные тела с острыми плавниками.

Кормик схватил длинный ключ, которым бросил в него перед тем Хинтон, и подполз к краю крыла.

— Бэн, эй, Бэн, держите, живей ко мне! — кричал Кормик.

— Джо, помогите... помогите!..

Но было поздно: акула нырнула около самой головы Хинтона, и белый гребень набежавшей волны потемнел от крови. Кормик бессильно выпустил из рук ключ и с трудом добрался до своей кабинки. В мозгу его метался красный вихрь лихорадки, зубы стучали.

20 час. 20 июля 1927 года.

Кормик открыл глаза от яркого света электрической лампы. Около него стояли люди в форме военных моряков. За руку его держал пожилой мужчина в белом халате. Он сказал:

— Ну, можете молчать. По вашим документам мы уже знаем все, что нужно знать, а вот вам, вероятно, небезынтересно будет узнать, что наш корабль — сторожевой крейсер «Амазонка» — подошел к вам тогда, когда из воды торчала уже только ваша голова.

Дверь каюты, где лежал Кормик, открылась, и вошел матрос. Приложив руку к козырьку, он доложил:

— Из Нью-Йорка получены две ответные радиogramмы.

Матрос глотаянул Кормику два желтых бланка. В одном стояло:

«Мистеру Кормику, пилоту. Сторожевой крейсер «Амазонка».

Немедленно используйте интересный случай гибели Хинтона для дачи сенсационной информации. Гонорар повышенный. Подробные очерки по возвращении только для нашего треста.

Директор Мак-Клинтон. Нью-Йорк».


Во втором бланке стояла всего одна строчка:

«Мистеру Кормику, пилоту. Жду скорее Нью-Йорк.

Ваша Сюзанна».



ШТУРМУЮЩИЕ КОСМОС



Ты помнишь бурлящие радостью весенние улицы Москвы 12 апреля 1961 года, слышишь веселый голос Юрия Гагарина: «Летать мне понравилось...» Но знаешь ли ты, что значит быть человеком самой молодой, самой новой — неземной — профессии?

Давай вспомним хотя бы немного из того, что рассказывали люди, которые первые увидели Землю из космического далека.

«Наблюдения велись не только за небом, но и за Землей. Как выглядит водная поверхность? Таинственными, чуть поблескивающими пятнами. Ощущается ли шарообразность нашей планеты? Да, конечно! Когда я смотрел на горизонт, то видел резкий контрастный переход от светлой поверхности Земли к совершенно черному небу. Земля радовала сочной палитрой красок...» Такова запись Юрия Гагарина.

Герман Титов рассказывал, что дважды брал управление кораблем в свои руки (космический корабль управляется автоматически, но есть в нем и ручное управление) и «чувствовал себя хозяином-пилотом корабля. Он был послушен моей воле, моим рукам».

Андрян Николаев и Павел Попович вспоминали:

«Перегрузки при спуске оказались несколько сильнее, чем при выходе на орбиту. Огромная тяжесть вдавливала нас в кресло. Воздушные потоки били по обшивке кораблей, заставляя их вибрировать...» А когда корабли при снижении попали в плотные слои атмосферы, «было немного жутковато находиться в центре огненного клубка, раскалившегося до нескольких тысяч

градусов. Это было, пожалуй, одним из самых потрясающих впечатлений в жизни».

Да, нелегко прокладывать дорогу в космос. И все-таки в сводках, которые космонавты передавали Земле, постоянно повторялись слова: «Самочувствие отличное». А приземлившись, летчики-космонавты неизменно рапортовали: «Программа полета выполнена полностью».

Каждый, кто следил за полетом, понимал: эти слова — высшая оценка работы советских инженеров, космобиологов, врачей — тех, кто создал космические корабли, кто готовил космонавтов к полету.

Но каждый понимал и то, что без огромного напряжения всех душевных и физических сил космонавтов, без тяжелого многодневного «земного» труда победа была бы невозможна.

Недавно в издательстве «Молодая гвардия» вышла еще одна книга о космических полетах — «Сквозь тернии к звездам». Что ждет человека за пределами Земли? Как протекает путешествие в космическом корабле? Что переживает и видит космонавт? Как он работает и отдыхает в полете? Невиданные космические пейзажи, космический «быт», техника ракетных полетов — очень широкий круг проблем затронут в книге Б. Ляпунова и Н. Николаева. В этой же книге юный читатель найдет и ответ на вопрос, как готовились к полетам советские космонавты. Это были суровые испытания — подготовка к полету в неизведанные космические дали, к неизвестному...

Изо дня в день, из месяца в месяц космонавты повышали свой «запас прочности». Усиленно занимались всеми видами спорта. Учились переносить перегрузку, крутятся в кабинах центрифуг. Привыкали к вибрации, сопровождающей взлет, тренируясь на вибростенде. «Поднимались» на большую высоту, находясь в барокамере, из которой откачивался воздух. На Земле испытывали, что такое безмолвие космоса: по многу суток проводили в сурдокамере, куда не проникает звук, где нет смены дня и ночи. Водили реактивные самолеты, прыгали с парашютом.

Но космонавт — это не только летчик, не только спортсмен. Это ученый, исследователь. На его рабочем столе книги по небесной механике, астронмии, геофизике, ракетной технике и ракетодинамике, космической биологии и медицине. Он изучает устройство корабля и многочисленных приборов.

Не раз, вероятно, космонавты вспоминали древнее изречение: «Per aspera ad astra» — «Сквозь тернии к звездам». Вспомнишь его и ты, читатель, если задумаешь стать космонавтом.

Первым проложил путь в космос советский человек. Это особенно радостно сознавать каждому из нас. На встрече с героями космоса в Москве на Красной площади Никита Сергеевич Хрущев высказал мысли, дорогие каждому советскому человеку: «И разве не является глубоко символичным и закономерным то, что мы отмечаем этот праздник побед в освоении космоса именно здесь, на Красной площади, где советские люди ежегодно празднуют рождение первого в мире социалистического государства, основателем которого был великий Ленин».

Л. ЧЕШКОВА

НОВЫЕ КНИГИ

О ПОКОРЕНИИ КОСМОСА

А. Винокуров, Ю. Зельвенский, Первый космонавт — воспитанник аэроклуба. М. Изд-во ДОСААФ, 1962. Книга эта о Юрии Гагарине, о становлении его как летчика и космонавта.

В космосе двое. М. Изд-во «Известия», 1962. В этом специальном выпуске собраны все материалы о групповом космическом полете Андрияна Николаева и Павла Поповича.

М. А. Герд, Н. Н. Гуровский, Первые космонавты и первые разведчики космоса. М. Изд-во АН СССР, 1962. Подготовка космических полетов, их огромная научная ценность — вот тема этой книги.

Земля—Космос—Земля. М. Изд-во «Правда», 1962. Сборник опубликованных в «Правде» материалов о групповом полете советских космонавтов А. Николаева и П. Поповича.

Александр Казанцев, Ступени грядущего. Госполитиздат, 1962. Автор книги делает интересную попытку раскрыть революционные и экономические предпосылки космических полетов, осмыслить великое вступление человечества в эру открытия вселенной.

Н. Котыш, Н. Мельников, Ждите нас, звезды. М. Воениздат, 1962. Это книга о летчике-космонавте СССР Германе Титове.

П. Клущанцев, К другим планетам! Детгиз, 1962. Множество «космических» новостей узнает юный читатель этой книги: о ракетах, об искусственных спутниках Земли, о будущих межпланетных перелетах.

Б. В. Ляпунов, Ракеты и межпланетные полеты. М. Воениздат. Книга о достижениях и перспективах развития космонавтики.

Е. Петров, Космонавты. М. Изд-во «Советская Россия», 1962. Автор рассказывает о том, как живут, работают космонавты, как они готовятся к очередным полетам.

Наши космические пути. М. Изд-во «Советская Россия», 1962. В этом сборнике помещены сообщения ТАСС и Академии наук СССР о завоевании космоса от первого искусственного спутника Земли до полета человека, выступления видных советских уче-

ных и общественных деятелей, комментарии зарубежной прессы. Материалы сборника расположены в хронологическом порядке, в них дыхание времени, дыхание истории.

Г. Титов, Семнадцать космических зорь. М. АПН, 1962. Автобиографическая повесть Германа Степановича Титова.

* * *

В 1963 году в московских издательствах выйдут новые книги об освоении космоса. В издательстве «Знание» готовятся книги «Тайны Земли раскрываются в космосе» М. Архангельского и М. Шебалина, «Просторы галактик» Б. Воронцова-Вельяминова и «Радиообсерватории слушают космос». В издательстве «Советская Россия» выйдет книга «Небесные братья» — о беспрецедентном групповом полете А. Николаева и П. Поповича. Альманах «Хочу все знать», готовящийся к изданию в Детгизе, познакомит юного читателя с новейшими достижениями в различных областях науки и техники, в том числе и с успехами в изучении космоса.

На 1-й стр. обложки:
Ю. А. Гагарин. Из кинофильма
«Первый рейс к звездам».

На 3-й стр. обложки:
«Фантастическое путешествие в страну кентавров». Юмористические рисунки В. Ковенацкого. →

Редакционная коллегия: И. А. ЕФРЕМОВ, А. П. КАЗАНЦЕВ, Л. Н. МИТРОХИН, Ю. А. ПОПКОВ, В. С. САПАРИН, Н. В. ТОМАН, В. М. ЧИЧКОВ.

Художник-оформитель А. ГУСЕВ.

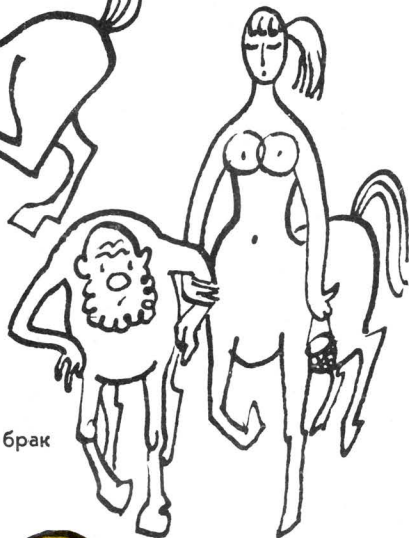
Издательство ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Рукописи не возвращаются. Техн. редактор Н. Михайловская. Адрес редакции: Москва, А-30, Суцеская, 21. Тел. Д 1-15-00, доб. 3-38.

А03284. Подп. к печ. 27/III 1963 г. Бумага 84×1081/20. Печ. л. 5(8,2). Уч.-изд. л. 10,5. Тираж 200 000 экз. Цена 20 коп. Зак. 330.

Типография «Красное знамя» изд-ва «Молодая гвардия». Москва, А-30, Суцеская, 21.



Самообслуживание.



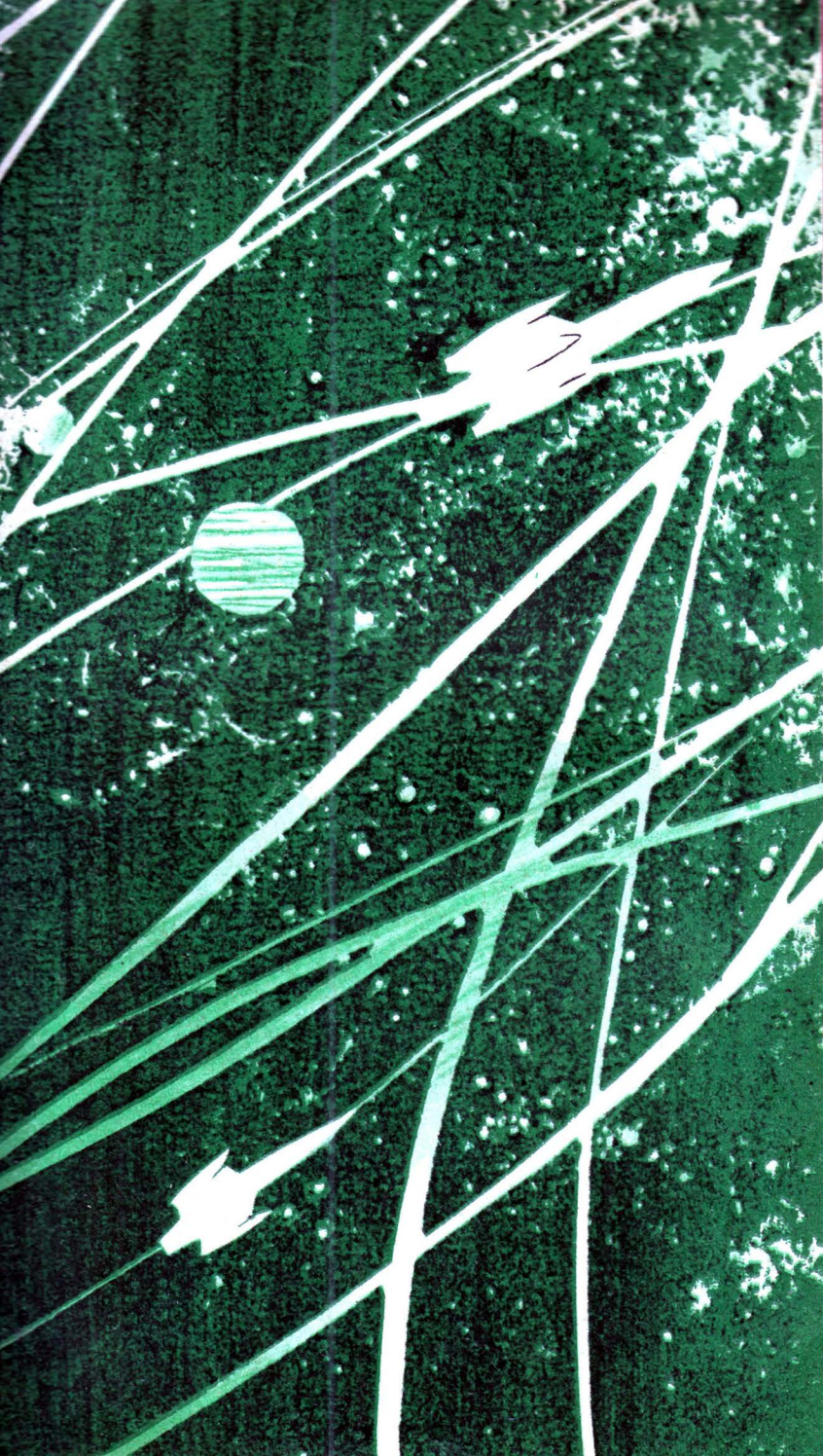
Неравный брак



Утренняя зарядка



Без слов



ФАНТАСТИКА ● **ПРИКЛЮЧЕНИЯ**

Цена 20 коп.